
Денис СОБОЛЕВ

НА ПОРОГЕ

Роман

Человек подобен пауку, который живет
в сотканной им паутине.

Айтаря Упанишада

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПРОСТРАНСТВО

Я говорю о камне, говорю о солнце; я не воспринимаю их сейчас своими чувствами, но образы их, конечно, тут, в моей памяти. Я называю телесную боль — а ее у меня нет, ничто ведь не болит... Я называю числа, с помощью которых мы ведем счет, — вот они в памяти моей: не образы их, а они сами.

Августин

1

Конец октября выдался холодным и сумеречным. «Высота волны по востоку Финского залива», — бесцветным голосом проговаривало радио, а ветер изо дня в день все больше набирал силу, наполнялся промозглой влагой, рвался под одежду, шелестел по улицам, звенел мусорными баками и водосточными трубами. Постаревшие листья, еще недавно с шорохом катившиеся по земле, размокли и все крепче прилипали к слякоти городских газонов и серо-коричневой набухающей водой земле. Серое, с какими-то бурными пятнами, небо опускалось все ниже, а речную, чуть пенящуюся воду несло на запад, под высокие мосты, мимо широких набережных и сквозь дельту ветвящихся протоков. Как-то быстро, почти скачком, дни наполнились мглой и стали заметно короче, а одежда — толще, постепенно превращаясь в зимнюю, утолщаясь шерстью и мехом. И все же это была еще осень, осень со всеми ее странными несоот-

Денис Михайлович Соболев — литератор и культуролог, доктор философии, профессор кафедры ивритской и сравнительной литературы Хайфского университета. Родился в Ленинграде в 1971 году, с 1991 года живет в Израиле. Соболев является автором девяти книг, а также стихотворений, рассказов, эссе и десятков научных статей, опубликованных в восьми странах. Его роман «Иерусалим» был включен в «короткий список» Русского Букера за 2006 год; роман «Легенды горы Кармель» номинирован на премии Национальный бестселлер и АБС-премию (премию им. Аркадия и Бориса Стругацких) за 2016 год. Соболев является членом редколлегий и редакционных советов многих журналов.

ветствиями — и последние короткие юбки соседствовали в ней с тяжелыми меховыми шапками. Утром было темно, и сумерки наступали еще днем. А с запада, над бурной водой залива, вдоль реки, по набережным, улицам и крышам, мимо особняков и краснокирпичных заводских стен дул этот мокрый промозглый ветер, который, казалось, был всегда и которому, казалось, никогда не будет конца.

Но однажды утром все стало иначе. Выглянув в окно, дети увидели, что крыши домов побелели; побелели газоны и безлистные кроны деревьев, побелели стоявшие у подъезда автомобили, и на окнах засветился тонкий слой инея. За одну ночь небо поднялось и высветлилось, а утром даже засияло синевой; потом все снова потемнело, поблекло, посерело. Пошел мелкий снег, увязая в порывах ветра, снова прекратился. И все же на следующее утро шел настоящий густой снег и, падая на землю, больше не таял. Прошло несколько дней, ветер постепенно стих, а снег продолжал падать; начали появляться первые сугробы. Снег больше не кружился в ветряных порывах, не бил в лицо, но падал медленно и почти отвесно. Он падал вдоль Балтийского моря, от могилы Канта на дальнем западе до покрытых соснами и северными елями почти безлюдных скалистых островков Выборгского залива, мелкий ранний снег падал вдоль длинных песчаных пляжей и прибрежного мелководья, на крыши закрытых кафе, где еще совсем недавно сытые курортники проводили время в поисках коротких знакомств и вели многословные разговоры о преимуществах «европейского образа жизни». Снег падал на толстые крепостные стены Новгорода и Пскова, на широкие равнины, холмы и давно уже поредевшие леса, падал на панельные городские многоэтажки, теплеющие избы и опустевшие дачи, его собирали ручьи, а Волхов нес его к белым стенам Ладоги, первого из городов русских.

Озеро снова штормило; серая ладожская вода набрасывалась на берег, как если бы она пыталась добраться до лежавших на берегу лодок; озерный ветер дул сильно, порывисто, настойчиво, холодно. От Свирской губы на западе до деревянных церквей Онеги все было покрыто толстым слоем свежего снега; было безлюдно, но светло; огромные северные избы смотрели на полупустые дороги четырехкоконными фасадами с белыми рамами, отгородившись от мира длинными рядами уходивших от дорог темных бревенчатых стен. От Белого моря до петляющих верховий Волги, от хибинских скальных цирков до Владимира на Клязьме и игрушечных церквей Ростова, от Смоленска до Великого Устюга вдруг наступила пронзительная тишина ранней зимы. Черные деревья поднимались над холмистыми сугробами; белели крыши; южнее хвойные леса постепенно сменялись лиственными, и на голых ветках лежали большие хлопья снега. Редкие трактора расчищали пустые дороги, и их снова засыпало снегом. Белоозеро наполнилось теперь уже совсем земной, видимой глазом белизной. Темно-белое небо отражалось в побелевшей воде; разделенные черной полосой леса за спиной, они смыкались впереди; прибрежный пляж был покрыт толстым снежным слоем, от которого на десяток метров мелководья тянулась полоса пятнистого неустоявшегося льда. Некоторое время они ехали вдоль озера, вдоль дороги снова заскользили избы, церкви, заснеженные деревенские причалы. Потом вернулись, выехали из городка, но через час опять остановились. Здесь было еще более снежно и безлюдно. Облупившиеся монастырские стены, кирпичные проплешины и церковные купола отражались в подступившей белизне мира.

«Ох ты, зараза, как приморозило!» — сказал один из заезжих археологов. «Ну значит, приморозило», — ответил его товарищ равнодушно, «Незачем сюда было снова ехать, давно пора домой; и ребенок, как ты знаешь, у меня маленький». — «Сейчас бы еще покопать», — сказал еще один, «Вот она, разгадка, вот она, проклятая». — «Нет тут никакой разгадки, — ответил второй чуть раздраженно, но и наставительно, — и загадки тут нет. В этом мире вообще с разгадками плохо, да и с загадками не очень. Вот

он такой, привыкайте». Четвертый же стоял молча, опустив плечи, слушая и почти не слыша, потом потер бороду, поправил тонкую шерстяную шапку, снял очки и зачем-то на них подул. Он смотрел на монастырскую стену, как смотрят на книгу, в которой не нашлось ответа: сосредоточенно, раздумчиво, без недоверия, без раздражения, но и без страсти. «Это мы, наверное, еще узнаем», — устало сказал он. А бесконечное прекрасное белое небо нависало над ними так низко, что почти касалось лесных вершук; и неожиданно стало совсем тепло.

2

Белое и черное; белый снег и белый лед Белоозера; черные избы, многие из них ветхие, точнее, и не черные вовсе, но кажущиеся на белом. Так и мы склонны оценивать себя в черном и белом, думал бородатый, снова почти инстинктивно поправляя вязаную и уже не по погоде тонкую шапку, ходить по свежему снегу, топить по-черному, проявлять чудеса милосердия, самозабвения, самопожертвования и злодейства. Но это за Вислой для любых злодейств и предательств легко находятся удобные слова, душевный покой и сытость. Мы же живем на белом, на холодном, почти что без тепла сытого довольства; поэтому и разрываем душу в раскаянии, а измучив себя, надорвавшись, снова бросаемся в воображаемые объятия тех, кто нас убивал. Нас убивали и, вероятно, еще будут убивать. И орды с запада, и орды с востока, и наши собственные чудовища. Может быть, поэтому светлые времена кажутся нам пустыми — или это мы сами делаем их пустыми? И все же где теперь они все, эти чудовища, и нами самими выращенные, и пришлые — сгнули и живы только нашей памятью, нашими заблуждениями и нашим самообманом? Мы же, отрывочно думал он, ищем справедливости и милосердия; их не находим; но если не найдем их мы, то не найдет и никто другой. День всех душ.

«Лермонтов считал, — как-то рассказывала детям бабушка, — что мир делится на запад, восток и север». Наверное, это так. Живущий на севере знает и запад, и восток и не верит им; живущие на западе и востоке считают, что севера не существует; им важно так думать. Наверное, заблуждаются они все, но некоторые меньше. В тот уже праздничный день, когда четверо археологов смотрели на занесенный снегом раскоп, пошел мелкий теплый снег; он шел почти отвесно. А следующим вечером они уже были на обратном пути в Ленинград.

— Новый чужой утопический вымороченный город на большой кровью захваченной земле, — со страстной, длащейся, но и привычной, как бы выученной неприязнью говорил тот из них, которого они с чуть снисходительной нежностью звали Сережей, и продолжал: — Нарисованный на карте нелюбящей равнодушной рукой; нет хуже русских, чем те, что мечтают быть голландцами.

— Да нет же, — ответил ему бородатый Алексей Викторович, чуть его старше; ответил, едва ли не морщась от только что услышанной знакомой, многословной и, как ему казалось, навязчиво поверхностной риторики, — конечно же, нет. Петербург выстроен в центре нашего севера, на нашей собственной изначальной, чуть забытой земле, ненадолго у нас украденной во время той давней гражданской войны семнадцатого века. Но нам всем не только об этом, нам, наверное, еще много о чем предстоит вспомнить.

— Новая Ладога? — мысленно соглашаясь, но и чуть насмешливо переспросил третий; его звали Андрей.

Алексей Викторович кивнул.

— И первый из русских городов, — добавил он.

— Ладога не была славянским городом, — упрямо пробормотал Сережа и осторожным, но и чуть агрессивным взглядом искал поддержки у собеседников.

Безбородый Саша молча развел руками, потер щеки, потом шапку.

— Это еще здесь при чем? — спросил он, чуть подумав. — Прошлое темно, и не только из-за нашего незнания. Толпы уголовников, убивающих, режущих, грабящих, насилующих. Замки их, дружины княжеские, орды; все одна сволочь. Да и будущее, наверное, не фонтан.

— А, — обиженно ответил ему Сергей, — что мы тебе, славяне.

Андрей коротко посмотрел на него, на этот раз с изумлением, и неожиданная горечь, как бы совсем чужой статичной картинкой увиденного будущего на секунду вспыхнула в его взгляде. От неловкости все замолчали.

— Ты бы постыдился, — после короткой паузы сказал Сереже Валера. — Позорище. И вообще, развели тут схоластику от науки. Окно из Европы, сердце севера, мы славяне; не слышали бы мои замерзшие уши.

Остановился, потом продолжил:

— Потому что надо работать. А мы бездельники, и все. Как только перестаем быть учеными, так и становимся болтунами. Нам просто не хватило времени. Покопать бы там еще. Рядом же она, тайна. Знаете об этом, поэтому и собачитесь, поэтому и землю делите. Доделитесь. Делите между собой, а доделят чужие. Чужие свои и чужие чужие. Будете потом локти кусать. Если ума хватит.

Андрей кивнул, то ли с согласием, то ли для того, чтобы прервать спор, все больше казавшийся ему отвратительным.

— Простите, ребята, — сказал Сергей, подумав, но и как-то нехотя, — занесло меня куда-то не туда.

3

Снег все еще шел, шел по всей бесконечной лесной, перерезанной реками равнине, от Балтийского моря до Уральских гор, вдоль широких рек, текущих на юг; эти реки собирались в великую реку, и на далеком юге было так тепло, что снег таял, таял еще падая и стекал в дальнейшее невидимое море. Они смотрели на кружащийся падающий снег сквозь двойные рамы, сквозь стекла, покрытые тонкой, почти прозрачной изморозью, густеющей по оконным углам. Арина сидела на широком подоконнике, полуспинной к окну, изогнувшись, заглядывая в светлое серое небо, оборачиваясь назад в комнату, а ее брат стоял рядом, прижав колени к батарее парового отопления, почти что касаясь лицом стекла, погрузившись взглядом в широкий открытый прямоугольник двора, высокое каре новостроек, ряды деревьев внизу под ногами.

— Когда вернется папа? — спросили они тогда бабушку, и Арина, как во сне, потом много лет, раз за разом, вспоминала ее посветлевшее лицо.

— Уже скоро, — ответила бабушка неожиданно строго, — но вы не должны спрашивать об этом каждый час. А завтра мы еще поедем на дачу.

— Почему он вообще уехал? — продолжала наставить Арина. — Разве нам плохо здесь вместе?

— Потому, что человек не хомяк, и он не может жить в клетке или в норе, — ответила бабушка, а брат повернулся к ней лицом и спиной к окну.

— И потому, — продолжала бабушка, — что человек жив делом, которое делает, и не может жить без него.

— Но ведь он мог бы делать свое дело дома, — рассудительно ответил брат, и Арине показалось, что он прав.

— А еще, наверное, — добавила бабушка, немного подумав и вдруг как-то неловко и устало улыбнувшись, — потому, что вы тоже здесь родились и уже знаете, как весной трещит лед и уплывает в холодное море. Еще немного — вы тоже будете чувствовать за собой землю, у которой нет края, и будете знать, что человек жив своим делом и дорогой.

— Мы тоже будем уезжать и возвращаться? — чуть удивленно спросила Арина, без всякой причины мысленно переходя на сторону бабушки.

— Возможно, — ответила бабушка, — а может быть, и нет. Но вы всегда будете знать, что живете между морем и дорогой. Человек не может жить клеткой, едой и размножением в клетке.

— А хомяк? — спросил брат. — Хомяк точно может? Почему мама не хочет купить нам хомяка?

— Как так получается, что рождаются на севере? — спросила Арина. — Я могла бы родиться иначе?

— Так по-русски не говорят, — сказала бабушка, — хотя да, конечно. Я, как ты говоришь, родилась иначе. Наверное, в чем-то мы можем выбирать. Хотя вы, скорее всего, уже не сможете выбрать.

— А папа, — спросила Арина, — папа сделал, он сделал свое дело? Ради которого поехал по этой дороге? Там за окном, за снегом, ты там была?

Бабушка снова посмотрела на нее, поначалу молча.

— Думаю, что да, — ответила она, — хотя, наверное, не совсем. Когда он звонил, то сказал, что они нашли нечто удивительное. Я спросила что, а он засмеялся.

— Что же это было? — спросил брат.

Бабушка снова промолчала и неожиданно включила радио. По радио говорил голос жесткий, отчетливый, неприятный; но он говорил так, как говорили у них, ясно, проговаривая каждую букву, вычерчивая каждое «ч», как будто говорил и не с людьми вообще, а с самим временем, которому нет дела до мелких человеческих слабостей, говорил не так светло, чуть напевно и чуть суматошно, как добрые московские бабушки, и совсем уж не так, гортаня, цокая и крича, как говорили на платформах торговли яблоками по дороге на ту самую дальнюю, лишь однажды и бывшую, дачу на берегу теплого моря. И все же голос говорил непонятно, как бы эхом повторяя странные, захватывающие, пугающие слова: Луанг-Прабанг, Вьентьян, Сайгон.

— Что это такое луанпрабанг? — спросил брат.

— Это далеко, — ответила бабушка. — Там не так давно была война, и людям было очень плохо. На них падали бомбы, как когда-то на нас по квадратам, а еще их сжигали в лесах. Их леса называются джунглями.

— Как в «Маугли»? — удивленно сказала Арина.

— Тогда почему нам про них рассказывают? — снова спросил брат, — Это же страшно.

Арина внимательно посмотрела на бабушку.

— Потому, что мы тоже должны знать, когда другим людям плохо, — ответила она. — Потому, что помнить об этом — это то, что делает нас людьми. И еще потому, что если бы они не устояли, скорее всего, война снова пришла бы к нам.

— На них тоже напали немцы? И на Маугли тоже? — брату неожиданно показалось, что все стало ясным, прозрачным почти до боли, — И они снова убивают евреев?

Бабушка покачала головой.

— Тогда наша дорога туда? — спросила Арина. — И там тоже идет снег?

— Нет, — сказала она, снова задумавшись, как-то беспричинно отвлекшись. — Наверное, там никогда не бывает снега.

Скрипнула дверь; вошла мама.

— Выключите это немедленно, — сказала она. — И так голова болит, а тут еще эта бредятина. Что там еще? О чем вы говорили?

— Когда папа придет, — полувопросительно-полуутвердительно ответил брат. Он почти всегда так делает, подумала Арина, он ее боится. А я не боюсь.

— О дороге, о снеге, о севере, — ответила она отчетливо, посмотрев маме в глаза, стараясь подражать ясному голосу радио, — о хомяках, о змеях, о джунглях, о луанпрабане.

— Восхитительно, — сказала мама, взглянув на бабушку взглядом, полным сердитости, без слов, таким взглядом, каким она смотрела на Арину, когда та клала локти на стол или когда, не разуваясь, вбегала в комнату, оставляя за собой почти невидимую полоску следов, — значит, у нас тут политинформация. Я просто счастлива за моих детей. Именно для этого я их и рожала. Если останешься до вечера, можем вместе включить «Голос». Может, для разнообразия узнаешь хоть слово правды. Хотя бы из общего любопытства. Пока нас всех еще не посадили в дурку.

Мама развернулась почти на кончиках пальцев, выпрямив спину, молча и вышла из комнаты.

Бабушка села на стул, на секунду опустила голову, ссутулилась, потом посмотрела прямо, расстроено, тяжело.

— Они бомбили нас по квадратам, — сказала она. — Мы знали по шуму взрывов, если это было не в нашем квадрате. И тогда не прятались. Был голод, вы же знаете, очень хотелось есть. Все умирали. Нас вывезли по льду. А потом, когда мы вернулись, половины дома уже не было.

— Это было давно? — спросила Арина.

— Да, очень, — ответила бабушка, — очень давно. Это был совсем другой мир. Твоя мама его не застала. Уже больше тридцати лет назад.

4

Взгляд чуть напряженный, но и легкий; ему почти никогда не удавалось догадаться, о чем она думает; или, может быть, думает о нескольких вещах сразу; или ни о чем. Как в поезде, когда лежишь на верхней полке и думаешь ни о чем. Потом посмотрела на кончики пальцев.

— Аська, — повторил Андрей и снова потер бороду, — ты меня слушаешь? Вот так мы ее и нашли, но совершенно непонятно, что это значит. И значит ли что-нибудь вообще. Может быть, это главная находка моей жизни, а может, и вообще ничего.

— Все что-нибудь да значит, — сказала Ася, поднимаясь почти бесшумно и столь же бесшумно отставляя стул, — но разве это так важно? В конце концов, важно то, как мир устроен, а уже потом, как оно было или не было. Во дворе залили каток, ты видел? Пойдем кататься, как когда-то. Ты ведь любил кататься? Я правильно угадала?

— Как когда-то давно прошло, — ответил Андрей с недоумением. — Тебе еще куда ни шло. Хотя там одни дети и подростки. А я, между прочим, кандидат наук. — Он засмеялся с напряжением и неловкостью, как бы подчеркивая осознанную наигранность сказанного, от чего получилось еще хуже. — Да и кататься я никогда не любил.

— Пойдем, пойдем, — настаивала Ася. — У нас же с Иркочкой практически один размер. Ее коньки мне, наверное, подойдут.

— Она тоже не любит кататься, знаешь же, — ответил Андрей. — Вот дети подрастут, будем кататься с ними. Ну или на санях.

— Ты знаешь, через две недели придет тетка из Хмельницкого, — сказала Ася, неожиданно меняя тему. — Мама говорит, что тетка, как она выражается, хочет подзакупиться. И все время будет у нас жить. Ты представляешь, какой ужас? Она будет сидеть на кухне и разговаривать. И это придется слушать. В большой комнате будет филиал

Гостиного двора. Почему бы ей не пожить еще и у ваших? Помощь родственникам — благое дело. Обязанность строителя коммунизма. Приближает спасение души. Короче, теткой надо делиться. Может, она у вас с Ирккой поживет?

Андрей неопределенно помычал, а Ася засмеялась.

— Испугался, а? — продолжила она довольно. — Не каждый день тебе хмельницкую тетку предлагают? Душно тут у тебя. Пойдем вылезем. Не хочешь кататься, так хоть постоим посмотрим. Тепло же еще.

Они оделись и вышли на почти пустое пространство между недавними новостройками, которое по привычке все еще называли «двором» и про которое говорили «пойти во двор». Было действительно тепло, и даже ленинградское небо, неожиданно непривычное, несумеречное, почти что незнакомое, светилось редкой для ранней зимы звонкой голубизной. Но снег уже лежал густым покровом; на катке он был расчищен и навален по периметру льда тяжелыми, почти метровыми сугробами. Было неожиданно людно.

— Ты видишь, — сказала Ася, — они катаются. И ничего. Никто из них не говорит, что кандидат наук.

— Они катаются с детьми, — объяснил Андрей упрямо, — а мы два взрослых идиота. Что мы будем делать на катке?

«Первый день настоящей зимы, — мысленно повторяла Ася, — первый день. Как же надоела эта осень». Она чувствовала какое-то необъяснимое внутреннее сияние, как будто весь мир лежал перед ней, наполненный иллюзорной самодостаточностью и неизменностью. Катающиеся шли, бежали, скользили, описывали круги и витиеватые узоры, падали, поднимались. «Вернусь домой, — подумала она, — и сразу же пойду кататься. Даже одна. Хотя что же это на меня нашло?»

— Ты стал очень взрослым, — сказала она Андрею и посмотрела на свое теплое дыхание, медленно поднимающееся между нею и миром.

Ася вышла на лед, стараясь ступать маленькими шагами, помнить о своих каблуках, несколько раз увернулась от бегущих, отошла на самый край, но правая нога все же не удержалась, проскользнула, и она упала на колено. Когда Андрей подбежал к ней, Ася уже вставала, взволнованная, раскрасневшаяся, с болью в ноге, но почти что счастливая. Весь окружающий мир вдруг показался ей незнакомым и незнакомо значимым.

— Вот так идти, идти, — говорила она, — и не упасть. Ты видишь, они катятся, бегут и не падают? Или падают? Или встают, как я? Представь себе большой-большой каток, — продолжала она взволнованно, — и они, мы все бежим, падаем. И мы ли это? И что происходит с теми, кто падает и не поднимается? Ох черт, мне кажется я подвернула ногу. Посмотри на меня. Я нормально иду? Как тебе кажется, я сильно ударила? Больно, но как-то непонятно. Проводишь меня до дому?

Андрей подумал, что сначала надо дать ей прийти в себя, и они вернулись к нему. Точнее, к ним с Ирккой, поправил он себя. Ася сидела у них на кухне, какая-то оглушенная, огорошенная, почти незнакомая, и медленно пила чай. Голубизна неба оказалась недолгой; все стало затягивать привычным серым сумеречным маревом.

— Смотри, смотри, — сказала Ася, чуть понизив голос, — снова пошел снег.

Ира, теща и дети должны были вернуться с дачи только вечером. Он оставил им записку. «Зашла Ася, подвернула ногу. Повез ее к родителям. Может, останусь поболтать с Н. С. Звоните туда». От метро было совсем недалеко, башенки дома светились в медленно вечереющем воздухе, а Натан Семенович уже ждал их с горячим чаем. Ася, стройная, неожиданно нервозная, но все еще наполненная тайными тенями гаснущего ликования, разбросала сапоги по прихожей, чуть припадая на правую ногу, похромала по коридору и устроилась на кухонном диване.

— И как тебя угораздило? — спросил Натан Семенович.

— Влезла на лед, как последняя малолетняя дура, — ответила Ася, — да еще и на каблуках, вот и угораздило.

— Коровица ты моя, — Натан Семенович сокрушенно покачал головой. — Болит? Ладно, пойдем-ка посмотрим, что ты себе поломала. А вы, Андрюша, пейте чай, пейте, не сидите. Конфеты на столе, эклеры сейчас достану. Варенье Верино — то, что вы любите. Будет у нас чаепитие. Ну, пойдем-пойдем.

Вернулся с племянницей минут через пять, довольный, успокоенный. «Притворщица и симулянтка», — огласил он свой вердикт и сосредоточенно погрузился в намазывание на булку малинового варенья. Андрей уже начал беспокоиться за детей и Ирку, непонятно зачем уехавших на дачу накануне его возвращения, и совсем было собрался уходить, но тут позвонил телефон, и привычный недовольный голос жены спросил, как поживает ее «безмозглая великовозрастная сестрица».

— Симулирует, — весело отозвался Натан Семенович, — как всегда, симулирует. Думает, микробы родины будут без нее ползать.

Ася поморщилась.

— Ладно, — ответила Ира, — Проведу с ней завтра воспитательную беседу. А Андрея вы там не мурьжьте, хорошенького понемножку. Спать очень хочется.

Повесила трубку.

— Спать, конечно, дело хорошее, — подумав, сказал Натан Семенович, — но вы, Андрюша, все равно не убегайте так сразу. Верочка расстроится, что вас не застала. А дочь моя, когда вернетесь, все равно третий сон смотреть будет. Не первый год ее знаю. К тому же Ася сказала, что на Белоозере вы нашли нечто совсем уж удивительное. Можно будет прийти взглянуть?

— Забрали, — ответил Андрей довольно мрачно.

— Кто забрал?

— Ну как кто? — Андрей мрачнел на глазах все больше. — Друзья наши бесценные из немаленького домика-пряника.

Натан Семенович немного удивленно поморщился и взглянул на Андрея еще раз.

— Да что ж вы там такое нашли? — удивился он. — Скелет немецкого диверсанта? Водородную бомбу? Рассказывайте-ка по порядку. Знаете же, что дальше меня не пойдет. Кстати, подписку о неразглашении заставили подписать?

— Нет, — ответил Андрей, — хватит того, что рукопись забрали.

— Тогда все не страшно, — снова весело сказал Натан Семенович, а Андрей раздраженно подумал: «Тоже мне утешение. Точно так же он мог бы сказать, хоть не съели, ну и ладушки».

— В монастыре долго копали, — начал Андрей, — почти все лето. Когда я подключился, вторая смена заканчивала. А потом, когда уже собрались уезжать, там и копать-то стало почти невозможно, нашли тайник. Ход прямо из-под стены, да так, что можно хоть рядом стоять, ничего не заметно. Камни да и камни. Практически случайно нашли, по звуку. Оттуда лестница вниз, просто метростроевцы какие-то. Сначала мы думали, что обычный тайник, на случай набегов, да так и казалось. Вытащили некоторое количество древностей, задокументировали. А потом в схроне за камнями нашли эту рукопись; сама рукопись века пятнадцатого, но оригинальный текст, возможно, еще домонгольский. В основном по-гречески, немного, кажется, по-древнееврейски. На древнееврейском у нас никто не читал, а по-гречески дребедень какая-то; вроде смысл есть, а вроде его и нет. Не понимаю, зачем монахи ее хранили. Да еще так. Похоже, весь схрон ради нее был построен.

— Эх, отца бы туда, — заинтересованно сказал Натан Семенович, — он на древнееврейском читал. Но под Белоозером? Там же ни греков, ни евреев. Думаешь, монахи были способны ее прочитать?

— Может, и могли, — ответил Андрей. — Не все, конечно. Да только непохоже, чтобы ее вот так вот всем выдавали, как в читальном зале на Фонтанке. Короче говоря, мы вызвали специалистов, особенно по древнееврейскому, а приехали специалисты в штатском и нашу рукопись сразу же забрали. Заинтересовались даже. Важная, скажали, находка для русской истории и истории народов СССР, но несвоевременная — несвоевременная, когда братские народы Египта, Сирии и Палестины в который раз готовятся защищаться от израильской агрессии.

Андрей даже крикнул от негодования.

— Дурачье, — закричала Ася, которая сегодня слушала эту историю во второй раз, — узколобые, бессмысленные дураки. Разве наука может быть несвоевременной?

Андрей кивнул.

— Так мы и не узнали, что же такое нашли, — добавил он. — Может быть, ее хоть прочтут там. Хотя, может, просто в спецхран засунут, пока братский народ Египта будет советскими танками горстку евреев утешить. Если у него получится, конечно.

— Отберите орден у Насера, — пропела Ася, нервно стуча ладонями по столу, — не подходит к ордену Насер.

— Нет уже Насера, — прервал ее Натан Семенович, — кончился.

— И больше мы ничего такого уж совсем особенного не нашли, — добавил Андрей.

— Ладно, — сказал Натан Семенович, — не в тайнах счастье. Поезжай-ка ты пока к Ирке и детям, а я на днях постараюсь познакомить тебя с другом. Отцом твоего Сережи, между прочим. Хотя отношения у них не очень простые. Или его позову в гости. Он был у меня солдатом, танкист от Бога. А солдатом — потому что из ссыльных. Может, он тебе про твою рукопись что и объяснит. Если захочешь, то позову в гости и твоих приятелей-археологов.

— Танкист из ссыльных? — удивился да и засомневался Андрей. — Про греческую рукопись из-под Белоозера? А по части куска на древнееврейском мне ж ему и показать-то нечего, даже если он на древнееврейском и читает. Кроме половины страницы, даже меньше, я успел вслепую переписать.

— Ладно, ладно, — сказал Натан Семенович устало, — спорщик. Не читает он на древнееврейском.

— Петр Сергеевич в Русском музее работает, — объяснила Ася, отвечая на недоуменный взгляд Андрея, — хотя быть бы ему на пенсии. А вообще-то, он бывший граф. Такой вот старый, уставший от мира человек. Увидишь.

— Это Ася считает, что он граф, — не согласился Натан Семенович. — Я в это не верю. Да и сам он ничего такого не говорил.

— А Тамара Львовна говорила, — снова вмешалась Ася.

— Тамара Львовна — хороший человек, — примирительно ответил Натан Семенович, — только я бы не стал так уж дословно принимать каждое ее слово. Она не со зла, просто мир кажется ей таинственнее, чем он на самом деле.

Потом снова повернулся к Андрею.

— Ирише скажи, что Верина двоюродная сестра из Хмельницкого скоро приезжает. Не забудешь? И чтоб не думала увивать. Я знаю, что твоя жена думает о родственниках. Вон Ася их любит, хоть и ехидничает.

Андрей решил немного пройтись. Он шел и думал о том, что так и не привык к этому холодному и затворенному городу, несмотря на то, что прожил здесь столько лет, много работал, много общался, много думал и здесь родились его дети. «Но каждый раз, — подумал он, — в самое неожиданное время в нем поднимают занавес, и вдруг понимаешь, что еще почти ничего про него не знаешь». У них в Москве так никогда не было или почти никогда. А еще, именно в тот вечер, он впервые подумал — и с тех пор не мог забыть эту мысль — что, может быть, женился не на той сестре. Андрей шел

по вечерней Петроградской; навстречу шагам бил снег. Он растерянно и сбивчиво думал об утраченной рукописи, незнакомом фальшивом графе из Русского музея и нагрянувших на их раскоп людях в штатском, а потом поймал себя на том, что вместо подражания хриплому магнитофонному баритону тихо поет с ни на что не похожими Асиными интонациями: «Отберите орден у Насера».

5

Внутри было темно. Щекой Митя чувствовал толстое — кажется, шерстяное — тело висящего пальто. Было тесно, спина не находила себе места из-за каких-то проминающихся, но и пружинящих коробок и незнакомых, непонятных палок. Затаив дыхание, Митя просунул руку за спину и попытался отодвинуть особенно толстую жердь, которая больно и неуступчиво упиралась в спину и не давала выпрямиться. Висящая одежда окружала его своей тяжелой бесформенной массой, и прошло несколько минут до тех пор, пока он понял, что так мешавший ему предмет был неразобранной трубкой от пылесоса. «В шкафу?» — мысленно удивился он и сразу же сообразил, что шкаф, в который он так второпях забрался, находится в прихожей почти у самой входной двери. «И где, как не здесь, — объяснил он сам себе, — следует обитать пылесосу». Пока Митя обо всем этом думал, стенной шкаф стал казаться ему небольшой пещерой, в которой жили всевозможные одушевленные и не совсем одушевленные вещи. Вопреки всем правилам ему захотелось открыть дверь, впустить в шкаф свет и рассмотреть их поподробнее; но желание продолжать оказалось сильнее. Он даже затаил дыхание и услышал, как где-то совсем далеко перекачивались чуть слышные, знакомые и незнакомые, голоса взрослых.

Бесшумно изогнувшись, Митя повернулся и уткнулся лицом в никелированную трубку, отодвинул ее подальше от себя, поближе к углу шкафа, попытался забраться еще глубже и неожиданно нащупал еще одну палку с толстым электрическим кабелем, намотанным вдоль всей ее длины. Этот предмет ему тоже был знаком. Он назывался тем же самым словом, что и странный потный человек, раз в месяц приходивший к бабушке и бабушке с какими-то своими непонятными кремами, размазывавший их по светлым дощечкам пола, а потом втиравший эти кремы в пол прикрепленной к ноге щеткой. Этот человек был бы, наверное, похож на конькобежца, если бы не его угрюмое лицо и не его упрямое стремление не ускользнуть, а как раз наоборот — раз за разом возвращаться к одним и тем же дощечкам, медленно пропитывавшимся блестящим солнечным светом. Что же касается того — другого — полотера, который он только что обнаружил в углу, то такой же иногда давали и Мите; его надо было держать за откидывающуюся ручку, а полотер гудел и жужжал, тяжело катился по комнатам, увлекая за собой и его, Митю, оставляя на полу такое же, как и его человеческий собрат, хоть и не столь яркое свечение. Стараясь ничем не нарушить тишину, Митя оттолкнул всю найденную одушевленную технику в дальний угол шкафа, откинулся назад и почувствовал на лице отчетливое дыхание.

— Да не сопи же так, — прошептал голос, — тебя даже бабушка услышит.

— Как ты здесь оказалась? — возмущенно сказал Митя.

— Замолчи, — ответила Арина; Митя обиделся и ненадолго вправду замолчал. Некоторое время они сидели в шкафу молча.

— Но как это ты успела первая? — снова спросил Митя, и сестра очень отчетливо и неожиданно его ущипнула.

От удивления Митя то ли икнул, то ли крикнул.

— Ах вот где он, — услышал он голос Игоря; дверь открылась, и их одушевленная пещера наполнилась светом.

— В кладовке! — радостно закричал голос. — Он просто спрятался в кладовке.

За спиной Игоря стояла эта новая девочка с бантом; именно к ней Игорь и обращался. Митя начал медленно вылезать, аккуратно поправляя за собой висящие куртки, пальто и всевозможные странные вещи, которые он так и не сумел рассмотреть в темноте, а теперь было поздно.

— А Арю вы уже нашли? — спросил он недовольно.

— Не, — ответил Игорь и объяснил новой девочке по имени Катя: — Она самая хитрая. Пигалица из всех нас самая хитрая.

Катя промолчала и как-то неопределенно окинула взглядом коридор и кухонное окно в конце него.

— Может быть, она в ванной? — спросил Митя. — Вы там не искали?

— Нет, — сказал Игорь. — Не такая она маленькая и глупая.

Но потом добавил:

— А может, она нас всех перехитрила и сидит в ванне?

Но в ванной ее не было.

— Пора звать детей, — сказала Ира. — Что-то они совсем заигрались. Так нельзя.

Позвала их не очень громко, но отчетливо. Они переглянулись, но сделали вид, что ее не слышат.

— Дети, — снова раздался голос мамы, теперь уже гораздо громче и с ноткой раздражения; вслед за ним, чуть позже, но и увереннее, голос Петра Сергеевича:

— Екатерина!

— Лева, где твои кузены? — обратилась Ира к московскому племяннику Андрея, мальчику лет четырнадцати, хорошо одетому и сосредоточенно слушавшему путанные разговоры старших, хотя понимал он в них немного, а запоминал еще меньше. Но Лева только покачал головой. Вера Абрамовна вышла в коридор; посмотрела на детей.

— А где же Аря? — с чуть ошутимым беспокойством спросила она.

Дети затихли, чуть виновато посмотрели на бабушку и начали медленно возвращаться в гостиную; последней неожиданно появилась Аря.

6

Если бы не окна на противоположной стороне и не уличные огни, снаружи уже было бы совсем темно. Люстра горела ровным высоким светом, разлетавшимся по обоям, переплетам книг, золоченым рамам картин, старому фарфоровому чайнику, чашкам и блюдам на столе, по сидевшим за столом людям, по их сосредоточенным или улыбающимся лицам, по узкому лицу Натана Семеновича, сидевшего во главе стола. Он продолжал говорить. Как он и обещал Андрею, Натан Семенович пригласил к себе Петра Сергеевича из Русского музея и всех остальных археологов, приятелей Андрея, и даже уже довольно давно бывшую в отказе Левину маму, Тамару Львовну, в качестве хотя бы относительного специалиста по еврейским текстам. Заняло все это, конечно, не несколько дней, да и некоторые справки Натану Семеновичу пришлось наводить самому, так сказать, по неофициальным каналам. Некоторые из гостей пришли с женами, другие с детьми; так что собралось довольно большое и немного разнородное общество. Археологам было особенно интересно, поскольку по понятным причинам официальной возможности обсудить ими найденное предоставлено не было. К сожалению, как и во время разговора на обратной дороге, не все обсуждение пошло тем путем, по которому Натану Семеновичу хотелось бы его направить.

— В том, что греческий текст оказался фрагментом из Григория Нисского, — говорил Натан Семенович, — в принципе, нет ничего странного. Любопытным является скорее выбор этого текста.

— Почему любопытным? — спросил Алексей Викторович. — Разве не естественно, что монахи читали каппадокийских отцов?

— Естественно. Но не выбор текста. Петр сейчас все объяснит.

— Это отрывок из книги «О жизни Моисея» Григория Нисского. Не очень большой отрывок, но относительно хорошо известный, особенно в богословской литературе, хотя, возможно, и не самый популярный. А с исторической точки зрения и несколько проблематичный.

— Почему проблематичный? — чуть нетерпеливо спросил Андрей.

— Андрей, не торопитесь, — ответил Петр Сергеевич. — Если совсем кратко, в нем описывается процесс более высокого понимания, но этот процесс описывается как ночь. Это необычно, поскольку Бог обычно ассоциируется со светом, часто с огнем, а процесс понимания — с внутренним просветлением. В этом же отрывке описано нечто иное. Это прохождение через ночь, в которой почти все, что казалось надежным и ясным, перестает таким быть, становится неясным, расплывается в темноте. Именно через такую ночь Моисей поднимается на гору Синай. Из-за этого некоторые комментаторы, как кажется, были склонны считать это описание гетеродоксальным, хотя написать об этом напрямую они не могли, поскольку Григорий Нисский канонизирован и в православии, и в католичестве.

— Но ведь это же действительно звучит несколько еретически? — с осязательным сомнением переспросил Алексей Викторович.

— Не совсем. У Григория Нисского прохождение через тьму — лишь один этап на пути к Богу. И с точки зрения объема текста этап не очень большой. В аллегорическом смысле Григорий Нисский интерпретирует его как прохождение через непознаваемость, что вполне согласуется с общим настроением апофатического богословия. Более того, в его книге это прохождение через темноту окружено традиционными образами света, и до, и после него.

— Тогда чем же этот отрывок проблематичен? — переспросил Андрей. Было видно, что то ли какая-то часть дилеммы ускользает от него, то ли сама эта дилемма и спор вокруг нее кажутся ему беспредметными.

— В контексте книги, строго говоря, почти ничем. Дело не в самой «Жизни Моисея», а, скорее, в том месте, который этот отрывок занял в богословской и мистической традиции. Его история сложилась совсем иначе, чем история остальной книги. В рамках и богословских споров, и церковной истории в целом этот отрывок оказался едва ли не самым главным, что о «Жизни Моисея» известно. Довольно быстро он начал существовать почти что отдельно от всей остальной книги. Его читали и перечитывали. Иногда к нему возводят чуть ли не всю традицию и богословского, и личностного понимания прохождения через темноту. Особенно ее мистическую составляющую. Хотя сама по себе эта традиция, конечно, восходит к Распятию.

Пытаясь осмыслить услышанное, все замолчали.

— А что с древнееврейским текстом? — через несколько минут, нарушая молчание, спросил Саша. — Андрей ведь успел переписать кусок из него.

— Он еще более странный, — ответил Натан Семенович. — Чтобы не волновать зря наших коллег-востоковедов с улицы Каляева, я попросил одного старого верующего человека помочь мне с переводом. Но и он был крайне озадачен прочитанным.

— Дословно, — продолжил Андрей, доставая из кармана лист и его разворачивая, с Натаном Семеновичем он эту странную историю уже обсуждал, — это переводится как «Сфера стойкости открывается от старой крепости, построенной на переломе времени. Дорога к крепости ведет вдоль потока, начинающегося от истока настоящего и спускающегося к морю без ворот. Но самого моря от крепости он не увидит. Здесь последняя из наших законных царей выбрала сферу стойкости против злодея и узурпа-

тора. Поднявшийся к крепости может ее узнать. Увидеть то, что не можешь прожить, столь же бессмысленно, как и прожить то, что не можешь увидеть».

— Белиберда какая-то, — разочарованно сказал Саша.

— Возможно, — ответил Натан Семенович; он поднялся и продолжил рассуждать стоя. — Но скорее это выглядит собранием частых мистических формул и метафор, довольно распространенных во многих религиях, не только монотеистических, хотя в первую очередь, конечно, монотеистических. И еще. Во втором фрагменте, как мне объяснил все тот же мой знакомый, есть любопытная деталь. Сферами в мистическом иудаизме принято называть ипостаси внутренней природы Бога, в той форме, в какой они могут быть явлены человеку.

Все затихли, пытаясь хоть как-то осмыслить услышанное.

— Итак, — подытожил Валера, — если предположить, что все это вообще имеет хоть какой-то смысл, то перед нами два мистических текста. Один из них нам понятен очень приблизительно; второй непонятен совсем. Связь между ними тоже неясна. Никакого отношения к России, как кажется, они не имеют. Как они оказались в монастыре и зачем их хранили в тайнике, тоже непонятно.

— Как раз связь с Россией, — ответил Натан Семенович, — в данном случае относительно ясна. Из общих соображений, конечно. С точки зрения оснований культуры русская культура действительно выстроена на двух основах: еврейской и греческой, библейской и византийской. Но это, так сказать, с формально-исторической точки зрения. А вот с историко-фактической точки зрения здесь действительно полный туман. На уровне фактического культурного сознания эта двойственность обычно остается за рамками привычной рефлексии и осмысления. И что удивительно, так это скорее осознание этого факта людьми, которые выбор делали.

— Не вижу здесь никакого факта, — довольно резко сказал Сергей, который до этого молчал. — Известные мне факты, как мне кажется, говорят как раз об обратном. То есть я понимаю, что теперь, чтобы просто быть русскими, нам нужно разрешение от вас, историков, но тут, кажется, и историки не спорят. Восточные славяне пришли с юго-запада и заселили нынешнюю Центральную Украину, а потом районы к северу от нее. По крайней мере, меня так учили. По русскому историку Карамзину.

Сидевшие за столом с некоторым удивлением на него посмотрели, а Натан Семенович посмотрел на Петра Сергеевича и покачал головой.

— В первую очередь мы славяне, — продолжил Сергей, — со своим характером, обычаями, привычками, образом жизни; когда-то даже были со своими богами. Потом, конечно, на нас могли влиять евреи, греки, финно-угры, татары, хоть папуасы, но самую сущностную и глубинную основу это не меняет.

Натан Семенович сел и налил себе еще чаю; продолжать этот разговор ему стало неприятно и неинтересно. Но тут довольно неожиданно вмешался Петр Сергеевич.

— Теория Карамзина, — медленно, но вполне отчетливо сказал он, — в то время не была единственной теорией. Ломоносов считал, что Россия пришла с севера, и только уже сложившись в некоторых своих бытийственных основах, соприкоснулась со встречными влияниями и подверглась частичным трансформациям в тот период, который мы называем киевским.

— И у этой теории есть хоть какие-то разумные основания? — спросил Алексей Викторович.

— Как мне кажется, — все так же спокойно ответил Петр Сергеевич, — более чем. То, что она была отвергнута немцами из академии, было частично связано с политическими причинами, а частично с тогдашними научными представлениями о доказательной базе в историографии.

— Тогдашними? — переспросил Валера.

— Тогдашними. Ломоносов выводил свою теорию из соображений, которые мы бы теперь назвали этнографическими, а американцы антропологическими, академики же считали необходимым основываться на прямых указаниях письменных документов, относящихся к соответствующему периоду. В первую очередь на «Изначальном своде». Поездки по деревням, как мне кажется, им вообще казались не имеющими никакого отношения к делу. Да и не хотелось им этим заниматься, наверное. А Ломоносов деревню и деревенский быт знал и так; ему не нужно было никуда для этого ездить.

— И это изменилось, — удивленно сказал Андрей.

— Да, — ответил Петр Сергеевич, — вы это и без меня знаете. Теперь «Повесть» не кажется нам таким уж надежным источником информации, особенно в ее ранних частях, а при анализе генезиса современная наука все больше апеллирует к этнографическим находкам и соображениям. Кроме того, Киевская Русь — очень позднее понятие.

— Почему же нас этому не учили? — удивленно сказал Валера; он неожиданно понял, что поверил в эту теорию сразу и безоговорочно. — Ведь все-таки Ломоносов.

Все снова и на несколько минут затихли.

— Мне неловко возражать Петру, — сказал Натан Семенович, — мы с ним где только вместе не бывали. Но давайте смотреть на эту теорию более трезво. Дело не в Ломоносове и даже не в Карамзине, хотя определенная политическая программа у Карамзина, конечно же, была, в том числе и когда он предпочел безоговорочно опираться на летописи, а в наличии или отсутствии доказательной базы.

— Но она есть, — горячо ответил ему Валера. — То, что мы находим на севере, действительно все больше расходится с тем, что мы учили на основе предполагаемой Киевской Руси. И в деталях, и даже в некоторых основах. Что довольно странно для единого государства. И даже для единого культурного мира. Не случайно в самые тяжелые годы Россия отступала именно на север. И к пресловутой русской зиме, которая якобы побеждает во всех войнах, это никакого отношения не имеет.

— Ладога и Новгород были раньше Киева, — довольно добавил Саша, суть спора его не интересовала, но увлекал сам процесс, — даже согласно летописям.

— А еще на севере никогда не было орды, — сказал Андрей; ему было неловко противоречить Натану Семеновичу, но в данном случае он ощущал, что правы Петр Сергеевич и Валера, — не было рабства, не было жизни в постоянном страхе. А в Новгороде еще и был удивительный уровень бытовой грамотности. Даже первую попытку освобождения от орды предпринял Михаил Тверской. И вообще, кроме Москвы, нас, собственно, никто никогда не захватывал.

— Вас тогда здесь вообще не было, — сказал Сергей с ударением на «вас».

Наступила неловкая тишина.

— Сережа, вам нужно возвращаться домой, — спокойно, хотя и грустно, ответил Натан Семенович.

— Мне ничего про это не известно.

Немного растерянно Натан Семенович посмотрел на друга.

— Сережа, — резко и отчетливо сказал Петр Сергеевич, — ты же не хочешь, чтобы тебе сказали: «Вот Бог, вот порог»?

Сергей провел взглядом по присутствующим, вышел в коридор, демонстративно медленно оделся и ушел, с шумом хлопнув дверью.

— Да ведь мы другие, другие, — продолжал повторять Валера, — мы другие.

— Валера, — обратился к нему Натан Семенович, — не принимайте теории о происхождении слишком близко к сердцу. Я понимаю, что вам странно слышать это от меня, историка. Но мы все другие; одинаковых вообще не бывает.

В этот момент неожиданно вмешалась Вера Абрамовна.

— Петр и Валера правы, — сказала она, — а ты забалтываешь важное. Я только сегодня поняла, насколько важное.

Натан Семенович недовольно посмотрел на жену, но промолчал.

— И что в этом так уж важно? — спросил Андрей. — Что мы живем на севере? Что по полгода невозможно выйти из дома без шапки?

Валера покачал головой.

— Мы не живем на севере, — ответил он, — мы и есть север. Никогда и никем не захваченные, не сломленные, не побежденные.

— А так бывает? — вдруг спросила Арина, сидевшая в углу. — Несломленные, непобежденные?

Андрей встал.

— Ириша, пойдем, — сказал он, — Арина уже очень устала. Да и, кажется, на улице сильно похолодало.

7

В голове у нее все немного путалось: дорога и стенной шкаф, снег, дедушкины друзья и Ломоносов.

— Мама, ты нам считаешь? — спросила Арина.

— Я устала, — сказала мама, обращаясь, как показалось Арине, больше к самой себе, чем к ним, — сегодня был очень длинный день.

— Ну, пожалуйста, пожалуйста, — стал повторять Митя.

— Попросите отца, — неохотно, хотя и уже сдаваясь, ответила мама, — у него переизбыток энергии.

— Ты лучше читаешь, — сказал Митя. — Он читает для себя, а ты для нас.

— И что вам почитать? — устало, но смирившись, сказала мама.

— Про все что угодно, — радостно и согласно закричал Митя и немедленно почувствовал, что просыпается.

— Про бухту Тикси, — решительно попросила Арина.

— Так тебе же было неинтересно? — немного удивленно спросила она и с сомнением посмотрела на Арину.

— Теперь будет интересно, точно интересно, уже интересно; ну почитай, пожалуйста, про снег, и про собак, и про реки Лена и Яна. Теперь же я знаю, что мы пришли оттуда.

— Мы пришли не оттуда, — подчеркивая каждое слово, объяснила ей мама.

— А откуда? — спросил Митя.

— Совсем с другой стороны, — сказала мама как-то недовольно, не проговаривая, даже немного комкая слова; но Арина не обратила на это внимания.

— Ты читай, читай, пожалуйста, — повторяла она.

— А где мы остановились? — спросила мама.

Арина растерянно замолчала, в дороге все было так похоже.

— Там, где про ночь, и про реку, и про собак, — ответил Митя.

Мама с недоумением полистала книгу, но через пару минут начала читать.

— Уже от Якутска дня почти не было, — читала она, — А за хребтом началась полярная зимняя ночь; только звезды, луна и сполохи — северные сияния — освещали путь, если не было пурги.

Под приглушенный, размеренный, действительно чуть усталый мамин голос — неожиданно снова ставший ясным, ленинградским, с вычерченными согласными и паузами между словами, — под плавное течение слов, ровное как скольжение полозьев, мягкий, отвесно падающий за окном снег начал превращаться в поземку, постепенно

поднимающуюся все выше, потом в густеющую ночную пургу; Арина поежилась и поглубже забралась под одеяло, почти до самого носа; перевернулась на бок.

— Путешественников с их тремя нартами, — слушала она, — до Новосибирских островов сопровождали еще пять нарт с их каюрами (вожаками), которые везли запас корма для собак, провизии и всякого снаряжения для людей, назначенного для склада на островах и для прокормления всех по дороге туда. Путь шел на северо-восток по одному из рукавов янской дельты, мимо брошенного поселения Устьянск, оставленного людьми из-за частых наводнений. Теперь это селение исчезло бесследно.

«Теперь? — сквозь смутную северную ночь подумала Арина. — Интересно, а что же там теперь? Неужели все еще так, как в книге? Или большой каменный город?» А снег шел, шел и шел, наметая неровные сугробы, и она соскальзывала в черную полярную ночь по дороге из Якутска до бухты Тикси, откуда уже было совсем рукой подать до таинственной и еще неоткрытой земли; в лицо бил ветер, временами глухо лаяли собаки; мимо окна проползали редкие купеческие дома, неказистые избы казаков и юрты якутов; незаметно и неожиданно для себя Арина постепенно приподнялась над одеялом, подставляя лицо холодному северному ветру, погружаясь в пространство и незнакомое, еще не разведанное время. Неожиданно она вспомнила о том, что бабушка говорила им о дороге, и стала представлять себе и бабушку тоже едущей вместе с ними по прекрасной бесконечной снежной дороге, которая вилась в дальнее счастье неизвестного, по равнине, которой нет конца.

Митя слушал чуть напряженно, мысленно вглядываясь в каждое слово, как бы приподнимая его на ладони, иногда непроизвольно задерживал дыхание. Слова погружались в пространство уходящего времени; а мимо него скользили снега, низкие берега, высокие берега, дальние горы. Слова были полными и тяжелыми. Но потом он начал все чаще терять эти слова, терять скользящую линию рассказа, проваливаться из живого звука речи в пульсирующее пространство памяти. Временами он вспоминал сегодняшний вечер: смеющиеся лица взрослых, серьезные лица взрослых; высокие потолки у дедушки и бабушки, скругленные сверху оконные проемы, искорки света, плещущие в стекле и хрустале на столе; твердую упрямую руку пылесоса, уткнувшуюся в его спину, свое внимательное бесшумное дыхание; эту новую девочку, к которой Петр Сергеевич обращался так странно — «Екатерина», и пропавшую Арю; немцев, которые обижали Ломоносова, но Ломоносов все равно оказался прав. Потом, приподнявшись над временем столь близким, но уже уходящим, почти ушедшим, хотя все еще пульсирующим в душе, он вынырнул назад, к размеренному голосу мамы, к напряженному замороженному взгляду сестры; сани скользили по глубокому снегу, дул встречный ветер, как иногда бывает, когда вечером возвращаешься домой на лыжах, на непонятном языке перекликались друг с другом проводники, лаяли собаки, а с высоких косогоров берегов Лены дальним воем откликнулись злые, чуть страшные голоса волков.

— А когда мы вырастем, — спросила Арина, — мы тоже сможем туда поехать? И мы сможем ездить на собаках?

— Нет, — сказала мама удивленно. — Это же только сказка. Как «Остров сокровищ». Или про драконов.

— А, — сказал Митя, поворачиваясь поближе к маме, даже, пожалуй, с некоторым облегчением. — Так реки Лены не существует? И Устьянска? И на собаках ведь никто не ездит, правда? Мы ведь уже почти взрослые.

— Существует, — закричала Аря, вмешиваясь, перекрикивая, как носильщик на вокзале, не давая Мите договорить. — Неправда. Все существует. И дорога существует. Я знаю. Бабушка сказала, что мы родились на севере и поэтому тоже по ней пойдём.

— Не совсем, — сказала мама спокойно, обращаясь по очереди к ним обоим. — Река Лена, конечно же, существует. И Устьянск тоже. Давайте я вам сейчас покажу их на карте.

Она подошла к книжному шкафу и сняла с полки большой атлас.

— Там очень холодно, — сказала она. — Это одно из самых холодных мест на Земле. Но и красиво, наверное. Эта синяя лента — река Лена. А вот вам там делать совершенно нечего. Очень плохие люди убили в тех местах очень много хороших людей. Вы еще узнаете об этом. Вот Устьянск. Думаю, что он похож на совхоз «Ленсоветовский», только хуже. Скорее всего, там нет электричества, и все ходят пьяными. Плохие люди специально давали им водку, чтобы им было все равно. А остальное сказка.

— И на собаках тоже нельзя ездить? — подавленно спросила Аря. Митя посмотрел на нее расстроено, но и немного самодовольно, взглядом взрослого.

— На собаках ездить можно, — ответила мама, — хотя теперь так почти никто не поступает. Может быть, только дикари.

— Значит, можно? — закричала Аря радостно, теперь уже победно оглядывая Митю. — И Земля Санникова ведь тоже существует?!

— Нет, — ответила мама, этот разговор казался ей все более пустым, — я же вам сказала, все остальное — сказка.

— Но ведь собаки не сказка, — ответил Митя, как на гати, с осторожностью прощупывая землю под ногами своих вопросов. — Скажи, бухты Тикси тоже нет?

— Бухта Тикси есть, — сказала мама. — Вот она на карте.

— Так ты там была? — спросила Аря, и Митя увидел, что ее глаза снова загорелись.

— Нет. Да туда и нельзя, наверное.

— А в Устьянске?

— Нет, конечно, — ответила мама.

— А на реке Лене? На мысе Святого Носа? И на Земле Санникова? — закричала Аря, догадываясь. — Ты нигде не была! Ты только видела их на карте. Поэтому ты в них и не веришь. Откуда же ты знаешь, что их нет? Вот бабушка там точно была. Я уверена. И в этом самом была. Луанпранбанге.

— С вашей бабушкой я об этом еще поговорю, — сказала мама холодно.

— Но ведь ты и правда там не была, — соглашаясь с Арей, рассудительно добавил Митя, чуть подумав; ему так хотелось продолжать оставаться взрослым, — Как же ты можешь знать, что их не существует?

— Ты читай, — попросила Аря, — читай, пожалуйста. Ты читала про хижину и про кости мамонтов.

— Хватит на сегодня, — сказала мама резко, закрывая книгу, — да и темы костей на сегодня хватит. Все, спать. День действительно был долгим.

Она устало склонилась над кроватями и по очереди поцеловала их в лоб.

— Спокойной ночи, — добавила она, — и не вздумайте продолжать болтать.

Вышла, тихо и плотно закрыв за собой дверь.

8

— Мама нигде не была, — сказала Аря, — поэтому она все придумывает. Потому и думает, что ничего нет.

— Как ты можешь так говорить о маме? — возмутился Митя.

— А что ты думаешь, она там была?

— Может быть, это было очень давно? Или ей просто нельзя нам это рассказывать? Арина задумалась. Маму она тоже любила.

— А ты еще почитай, пожалуйста, Митенька, ну почитай нам еще.

Митя посмотрел на нее и зажег бра над своей подушкой.

— Только я буду тихо, — сказал он.

— Да, да, — восторженно прошептала Аря, так тихо, что и сама себя почти не слышала, чувствуя движение губ и близкий шелест своего шепота, — про избушку.

— Столетняя избушка, — ясным шепотом читал Митя, — мало пострадала в этом холодном климате. Пропитанные морской солью стволы плавника только почернели и кое-где покрылись лишаями, а внутри были свежи. Немало путешественников находили приют в этой поварне по пути на остров или обратно, и все заботились об исправности ее двери, висевшей на кожаных петлях, и крыши, на которую нужно было время от времени подсыпать землю.

Часть слов казались Арине странными, хоть и захватывали воображение, и она начала мысленно сбиваться с дыхания. Как-то незаметно для себя она стала представлять себе огромные плавники, как у карасей с озера Красавица, только очень большие, и поварню, где повар орудовал возле жаркой, натопленной плиты.

— Митя, — сказала она, — когда мы вырастем, мы с тобой ведь доберемся до бухты Тикси?

Он задумался, представляя себе теплую хижину на берегу великого полярного моря.

— Да, — сказал Митя, — обязательно доберемся.

— Ты в нее веришь?

— Верю.

— Что бы ни сказала мама?

— Что бы ни сказала, — ответил он, задумавшись. — А ты не передумаешь?

— Нет, — сказала Арина решительно и как-то очень серьезно.

— Что бы ни произошло? — продолжал настаивать Митя.

— Что бы ни произошло.

Они снова замолчали. Арина вылезла из-под одеяла и села на край Митиной кровати.

— Обещаешь? — спросил он.

— Обещаю. Ведь бабушка сказала, что мы оттуда пришли. И этот, Ломоносов, тоже сказал.

— Обещаю, — повторила она, но неожиданно для самой себя ей и этого показалось недостаточно, — Клянешься?

— Да, — откликнулся Митя, и Арина легко коснулась его руки.

Митя чувствовал себя ужасно уставшим, как будто это он сам проехал на собачьей упряжке по широкой речной долине своей прозрачной бесконечной страны. «Я клянусь», — одними губами повторил он, перевернулся на бок, потом на грудь, вытянул руки, снова вспомнил об избушке, о которой сейчас читал, обнял подушку и почти мгновенно уснул без сновидений. Тихо-тихо, чтобы не разбудить брата, Арина встала с края кровати, все еще чувствуя себя во власти видения, подумав, что ей совсем не хочется спать, да и совсем не нужно спать в такую чудесную ночь; подошла к темному оконному проему с редкими огоньками поздних окон за стеклом и смотрела, как там, за двойными рамами, продолжает падать теплый медленный снег ранней зимы. Потом все же сказала себе, что становится холодно, что можно вернуться под одеяло и представлять себе бухту Тикси. Счастливое, все еще неожиданное, беспричинное волнение наполняло ее дыхание; и, не заметив, что засыпает, она уснула.

Арине приснилась широкая, как море, покрытая льдом и снегом река с высоким правым берегом, поросшим дальним лесом; нитью посередине замерзшей реки шла тонкая санная колея. Горело зимнее солнце. Поначалу Арина была захвачена бессловесным величием пейзажа, впервые представшего ей в своей взрослой, захватывающей душу полноте. Но потом на смену счастливому солнцу, от которого так пронзительно сверкает снег и наполняется светом душа, пришла тяжелая зимняя буря. Неожиданно,

вглядевшись в кружащиеся в воздухе потоки снега, она увидела маленькую черную фигурку бегущего к ней человека. Он бежал, падал, вставал, размахивал руками, бесшумно кричал, как будто пытался ей что-то сказать; и Арина испугалась. Потом он опять упал, на коленях пополз ей навстречу, поднимая руки, и снова, как будто пытаясь что-то кричать, указывал куда-то назад, в сторону высокого дальнего горного склона почти что на горизонте. Арине вдруг показалось, что она его узнала, и все же во сне она так и не смогла вспомнить, кто он. Она оглянулась туда, назад, куда он указывал, и увидела огромную чужую женщину с горящими безумием глазами, в короне, доспехах и с огромным мечом в руках. Когда Арина обернулась назад, ползущий человек уже исчез в тугом водовороте снежной бури. Исчезла и ужасная блондинка у нее за спиной, со своим черно-золотым щитом и золотой короной; исчезла и снежная буря над великой незнакомой рекой. Арина лежала в постели, сжимая одеяло, ей было страшно и непонятно; и она долго не могла уснуть.

9

Если в июне их обычно надолго увозили за город и короткое ленинградское лето по большей части проходило мимо них, а добрую половину осени город утопал в мелких холодных дождях, лужах, сырости, слякоти и грязи, то зима со всей своей красотой и почти бесконечным разнообразием была полностью в их распоряжении. К декабрю снег обычно бывал уже густым и тяжелым, а в январе даже на обычных газонах можно было провалиться по колено. Дорожки между домами расчищали бульдозерами, постепенно нагромождая по обочинам огромные сугробы. В этих сугробах можно было играть, рыть норы, прятаться. По горкам, образовавшимся на скошенных берегах прудов, можно было кататься не только на обычных санках с полозьями и сиденьями, сделанными из крашенных дощечек, но и на круглых жестяных санях, похожих на огромную тарелку. По паркам и лесопаркам можно было ходить на лыжах. Но самым удивительным становился город. Белые тротуары, белые реки и каналы, белые парапеты и ступеньки набережных; высокое зимнее солнце. Конечно же, было много серых дней и дней, почти до краев наполненных мелким снежным туманом, иногда снегопады длились с утра до вечера, и все же воображение поражали не они, а дни: ясные, голубые, полные высоким зимним солнцем. Это солнце переливалось на оконных стеклах, на зеркалах машин, на льду катков и горок, на круглой жести саней, почти на всем, что было способно отражать или светиться. В такие дни по широким белым городским улицам, с их почти что безупречной планировкой и длинными прямыми перспективами, можно было гулять почти бесконечно, а когда Арина и Митя оказывались в центре, становилось видно, как сквозь голубое небо, по какой-то своей собственной им неизвестной дороге плывет корабль, поднятый над городом светящейся на солнце иглой Адмиралтейства.

Поначалу после хаоса осени это чувство зимней гармонии и порядка казалось немало неожиданным, но часто оно сохранялось даже на дедушкиной даче. Своей дачи у них не было, так что значительную часть детства дети провели именно здесь. Несмотря на то, что дома здесь были в основном относительно старыми, в значительной степени оставшимися еще от финнов, а некоторые и вообще дореволюционными, дачными эти места были и до революции, дорожки оставались прямыми, тропинки хорошо и умело протоптанными, а участки выглядели обустроенными, без всяких следов попыток выращивать на них помидоры или завести корову. Даже окрестные леса казались лишь продолжением их собственного участка; впрочем, дальше Щучьего озера ходить им не разрешали. Зелень выглядела даже гуще, чем летом, а на вершинах высоких и прямых сосен лежали копыта снега. С другой же стороны, если спуститься вниз

по косогору, бесконечным белым полем лежал залив, тянувшийся до невидимого финского берега. Но иногда они оказывались и в других местах. Пожалуй, в наибольшей степени им запомнилась дача, принадлежавшая дедушкиной сестре Регине Семеновне. Здесь все было другим; большой, но ветхий дом, он достался бабушке Регине от родителей ее погибшего в экспедиции мужа; хаотичные густые леса с подлеском; нерасчищенные дороги и петляющие тропинки; замерзшее озеро с темными силуэтами леса на другом берегу. Комнаты казались какими-то неустроенными, а из доброй половины окон сквозило. Они бывали здесь нечасто: все-таки это был чужой дом, да и добираться сюда было гораздо дольше.

Но при всей бытовой неустроенности было и другое, и это другое захватывало воображение. Здесь все было населенным и казалось таинственным. На снегу отчетливо виднелись следы лосей; под густым снегом обнаруживались огромные корни; по лесу были разбросаны выступающие из-под снега серые скалы; лес на той стороне озера отбрасывал тень на заснеженный лед, и казалось, что из тени выглядывают глаза неизвестных и безымянных лесных существ. Мир был наполнен присутствием и казался одушевленным, в нем была тайна; эту тайну ощущали даже родители и запрещали им отходить далеко от дома. Постепенно Арина и Митя поняли, что родители этот дом вообще недолюбливают, а они, наоборот, его любили; часто спрашивали бабушку и дедушку, скоро ли снова сюда поедут. В тот день добирались особенно долго. Уговорил всех дед. Его позвала бабушка Регина, а он сразу же рассказал об этом детям; мама чуть недовольно согласилась. Арина радостно захлопала в ладоши. Митя с легким нетерпением ждал, что скажет папа, но он согласился тоже.

— Ну и отлично, — сказал дед.

Шел густой снег, дороги занесло, мама сидела мрачная и обиженная, спрашивала, зачем было опять сюда ехать. А бабушка на этот раз не поехала с ними вовсе. Но поближе к вечеру все же добрались, еще засветло. Ася выбежала их встретить, а заодно и открыть ворота; бабушка Регина вышла на крыльцо, быстро и уверенно направилась к ним по тропинке, обнялась с дедом.

— Мама уж подумала, что в такой снегопад вы вообще не доберетесь, — сказала Ася.

Дом был тепло натоплен, и они быстро отогрелись. Но потом Митя все равно выбежал наружу, вынырнув назад из тепла в холод. Снег падал почти отвесно; Митя не почувствовал ветра; на верхушках сосен лежали тяжелые сугробы. В этот момент Митя понял, чего ему больше всего хочется. Он улегся на снег и начал по нему кататься, как катают снежные шары перед тем, как слепить из них снеговика. Он смеялся, представляя себя в виде снеговика, и действительно был уже весь в снегу, даже начал подниматься, когда метко брошенный снежок неожиданно попал ему в плечо. Он повернулся и увидел Асю, стоящую на тропинке перед входом в дом и тоже смеющуюся.

— Ты только никому не рассказывай, — попросил ее Митя.

— Это будет наша тайна, — ответила Ася и начала его отряхивать.

На следующий день немного распогодилось, снегопад почти прекратился, хотя и пошел легкий ветер, а снег попадал в лицо. И все же получился отличный день. Они действительно слепили снеговика, гуляли по окрестностям, играли в снежки, почти обошли озеро, протаптывая свежую тропу по занесенному снегом проселку. Бабушка Регина разрешила им взять деревянные финские сани с длинными полозьями; Митя посадил в них Арю и толкал сани перед собой, отталкиваясь валенками от снега, а Аря радостно кричала и звала всех на них посмотреть. Потом Митя устал, и сани толкала уже Ася, потом толкал папа, потом мама. Но маме это очень быстро надоело, она сказала, что развлечение дурацкое, ветер довольно сильный, дети простудятся, а потом неделю проваляются в кровати. Тогда Митя забрал уже пустые сани себе и, толкая их по снегу, представлял себя летящим по заснеженному миру и кричал «У-у-у», пока ма-

ма «все это безобразие» не прекратила, и они пошли обедать. Мир казался счастливым и одушевленным, населенным невидимыми существами.

— Я думаю, что бывают снежные эльфы, — в тот вечер тихо сказала Аря, — и что где-то здесь они должны жить.

Незадолго до этого ей прочитали «Хоббита», так что эльфами Арина почти что бредила, а родителям, наоборот, изрядно ими надоела. Чтобы не усугублять новообразовавшуюся эльфоманию, читать ей «Хоббита» во второй раз они отказались, так что Арине пришлось перечитывать его самой; но она прочитала его и в третий раз. Развивать тему снежных эльфов родители тоже отказались, даже бабушка, все, кроме Аси; она снова засмеялась и попыталась изобразить летящего снежного эльфа. «А вдруг она эльф и есть?» — подумал Митя. Но он был уже почти взрослым и знал, что эльфов не существует.

10

На второе утро распогодилось окончательно. Разошлись облака, и светлое зимнее солнце отражалось на снегу замерзшего озера.

— А каток здесь есть? — спросил Митя.

— Конечно, нет, — ответил папа. — Мы же далеко от города.

— Не задавай дурацких вопросов, — сказала мама. — Ты уже взрослый.

Митя обиженно опустил голову к тарелке.

— По-моему, совсем даже недурецкий вопрос, — услышал он голос Аси. — Захотим каток, будет у нас каток.

— Асенька, угомонись, — сказал дед.

— У нас будет отличный каток, — возразила она. На секунду вышла и вернулась с широкой совковой лопатой.

— Там в кладовке еще три такие. Так что хватит на всех. И на тебя, — сказала она, обращаясь к Мите: — Иди, одевайся. А кататься тебе есть на чем?

— Кажется, коньки еще в багажнике, — ответил за него дед. — Между прочим, было бы неплохо, если бы багажник хоть кто-нибудь иногда разбирал. Ладно, может, Ася и права, значит, будет у нас каток.

И действительно, меньше чем через час у них был свой каток. Поначалу со льда озера снег расчищали, упираясь ногами и налегая на лопаты; было неудобно, валенки проскальзывали. Но потом, когда изрядный кусок льда уже был расчищен, они с папой и Асей надели коньки; не выпуская из рук лопат, чуть разбежались по льду и выталкивали перед собой очередную партию снега, постепенно останавливаясь. Отбрасывали снег в сторону. Было счастливо и смешно. От усилий Митя раскраснелся и взмок. Бабушка и бабушка Регина принесли из дома стулья и устроились недалеко от них, почти на берегу озера, как на сцене. «Или это мы на сцене», — подумал Митя.

— Ладно, хватит, — сказала бабушка Регина, — Так вы к вечеру все озеро расчистите. У нас уже получился мировой каток. Не пора ли им воспользоваться? Ирочка, не стой с таким грустным видом. У Аси есть запасные коньки. Почему ты их не взяла? У вас же одинаковый размер. Сейчас я тебе их принесу.

Бабушка Регина начала возвращаться в сторону дома, но мама ее опередила. Вернулась к озеру уже с коньками, переобулась. Стали кататься. Каждое скольжение казалось полетом, и Митя счастливо вдыхал холодный воздух. Он разбежался все быстрее, всем мешал, временами не рассчитывал своих сил, не успевал повернуть, несколько раз с разбегу падал на не только нерасчищенный, а, наоборот, недавно ими же самими наваленный сугробами снег; было чуть больно и все еще очень смешно. Поскольку Арина была еще маленькой, маме приходилось за ней присматривать. Первой устала

Арина; вместе с ней со льда ушла мама, с видимым облегчением сбросив Асины коньки. Папа сбегал в дом и принес стулья для нее и Арины. Потом вернулся в дом еще раз; принес стул для себя. Мама пошла с ним, принесла немного еды для них всех. Стулья расставили полукругом; разговаривали, почти что не обращая на них внимания. Папа посидел вместе со всеми, но потом вернулся на лед. Есть Мите не хотелось совершенно, но ему стало казаться, что на него все смотрят; и это чувство мешало все больше и больше. Он подумал и тоже ушел со льда. С обидой посмотрел на маму; почему-то ему показалось, что именно она все испортила. На льду остались только отец и Ася; казалось, они едва замечают друг друга.

— Андрей, — громко сказала Ира, подходя чуть ближе к берегу, — пока вы там бегаете, мы все здесь скоро продрогнем. Даже детям уже надоело. А ты не ребенок.

Он согласно ушел со льда, переобулся, присоединился ко всем. Ася продолжала кататься; было видно, что его ухода она практически не заметила. Потом к ним все же приблизилась.

— Вы меня не ждите, — закричала она, — не надо ради меня мерзнуть. Я тут еще немного покатаюсь и вернусь домой.

Но они остались на берегу, и Ася на них больше не оглядывалась. Под ярким светом зимнего солнца, высоким голубым небом она скользила, разворачивалась, кружилась легко, как снег во время вихря или как лист на ветру. Мите стало казаться, что она вообще ничего не весит, что она просто летит надо льдом и вращается в воздухе. А еще Ася улыбалась; наверное, каким-то своим мыслям. Ее скользящая и кружащаяся тень отражалась на серебряном льду. Позади нее был виден дальний ельник противоположного берега. Неожиданно Митя заметил, что на нее смотрит не только он, но и отец; и у отца было странное выражение, которого Митя, кажется, никогда у него не видел. «Он сердится, что мама прогнала его со льда», — подумал Митя. Потом посмотрел на него еще раз; папа его не замечал. «Нет, — поправился Митя, — кажется, он расстроен, что ему не дали покататься». Взгляд папы был полон боли, пожалуй, даже горя; такой взгляд иногда бывает у героев фильмов. А Ася кружилась уже не как снег, а как сам ветер в своем утреннем движении; Митя вспомнил, как вчера она бросила в него снежком. Снова посмотрел на папу. Возможно, заметив, что Митя на него смотрит, папа отвернулся ото льда и начал что-то рассматривать в лесу. Митя послушно проследил за его взглядом. Но в лесу ничего не было; а у папы был такой взгляд, как будто он смотрит в темноту. Митя даже немного за него испугался.

— А вы, Андрей, что вы об этом думаете? — спросил дед.

— Я с этим согласен, — ответил он.

— Андрюша, — вскинулась бабушка Регина, — как вы можете быть с подобным согласны? Вы не шутите?

— Мне кажется, он нас не слушает, — сказала мама. — Мы все устали и замерзли. А что если нам вернуться домой?

Они вернулись. Подходя к дому, папа оглянулся и снова взглянул на светящееся озеро. Зачем-то на озеро взглянул и Митя. Ася продолжала кружиться. Где-то через полчаса к ним присоединилась и она.

Но в этот дом на озере они больше не вернулись.

— Какое свинство, — мрачно сказала мама по дороге домой.

— Ты о чем? — спросил дед.

— Могли бы хотя бы нормально заделать окна. Будет чудом, если дети вернутся без пневмонии.

— Я ничего не заметил, — резко ответил папа, — И вообще, как ты можешь. Две одинокие женщины в старом доме. Позвали нас в гости, возились с нами, развлекали

нас, развлекали детей. А ты вместо благодарности... Это же твоя тетка и твоя двоюродная сестра.

— Вот именно. Зная, что у нас двое маленьких детей, позвать нас в этот сарай, где гуляют сквозняки. Потом полдня продержат на ледяном ветру, потому что нашей инфантильной Асечке, видите ли, вздумалось покататься. Ноги моей здесь больше не будет.

— Про скотство я согласен, — ответил папа, — Только Ася здесь ни при чем. Мне кажется, что скотство следует искать в другом месте. Приехать к людям в гости, а потом поливать их грязью. Да еще при детях.

— Да что на вас нашло? — изумился дед.

— Если дети разболеются, сидеть с ними будет их отец, — добавила мама, — Я тебе это заранее говорю, чтобы ты меня потом не обвинял в том, что я плохая мать.

— Ничего. Посижу. Не растаю.

— Сомневаюсь. Как-то ты довольно быстро разогреваешься. Хотя и не от детей. На них тебе наплевать. Так что, может, и правда не растаешь.

Натан Семенович включил радио. По радио говорили о каких-то склоках в американском конгрессе, о последствиях страшной резни в Кампучии, о переворотах в Южной Америке и войнах в Африке, а еще о том, что полный титул президента Уганды Амина Его Превосходительство Пожизненный Президент, Фельдмаршал Аль-Хаджи доктор Иди Амин, кавалер орденов «Крест Виктории», «Военный крест» и «За боевые заслуги», Завоеватель Британской империи в Африке в целом и в Уганде в частности, Властелин всех зверей земли и рыб моря. «Какая несусветная чушь, — подумал Андрей. — И зачем это нам? Зачем нам все это рассказывают? Как это все далеко. Какое это имеет к нам отношение? Какое это вообще имеет значение?» Весь этот вечер он думал о другом. Так что он забыл эту мысль почти сразу, задолго до того, как мог бы понять, до какой степени он в эту минуту ошибался.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ГОРОД

Я усну, и мне приснятся запахи мокрой шерсти, снега и огня.

Галич

1

Весна наступила поздно, но, начавшись, двигалась быстро, скачками. В начале марта город наполнился этими ядовитыми желтыми цветами; ими торговали в киосках и на углах, несли в руках и даже спрятав за пазуху. Но на самом деле никакой весны не наступило; а море желтизны исчезло так же быстро, как и нахлынуло. Всюду лежал снег; лед, не только на Неве, но и на речках и каналах, держался твердо, по-зимнему, и, казалось, ничто не предвещало скорых перемен. Апрель тоже был холодным, временами шел снег; но потом все же потеплело. Снег растаял сначала на тротуарах, начал таять на газонах, оставаясь лежать небольшими неровными островками. Треснул и тронулся невский лед. На майские праздники уже было тепло, все светилось красным и переливалось солнцем. Солнце горело и на оконных стеклах, и на кронах деревьев, и на портретах основателей марксизма. Митя спросил родителей, могут ли они вместе пойти на демонстрацию; он знал, что в школе на нее многие ходили, но родители отказались наотрез. Митя обиделся и расстроился. Спросил еще раз, можно ли ему пойти с кем-нибудь из взрослых, если кто-нибудь согласится его взять. Ему кате-

горически запретили снова, а у мамы появилось такое выражение, как будто она ненароком проглотила жабу. Еще пару раз шел редкий и мелкий снег, но теперь он таял прямо в воздухе. Вторым потоком прошел тяжелый, но на глазах тающий, уходящий в сторону залива ладожский лед. Проспекты, набережные, особняки, парки и даже их новостройки воспрянули под светлым предлетним солнцем. Появлялись и быстро распускались почки; голые деревья покрывались листьями. Казалось, что даже зелень сосен и елей становилась другой, более насыщенной и густой, более зеленой.

— А правда зеленый может быть совсем разным? — заметив это, спросил Митя папу; тот кивнул.

Земля казалась густой и вязкой. К городу незаметно подступало лето.

Еще из того года запомнилось, как без всяких предисловий папа неожиданно и довольно сказал, что приедет его московский брат со своей нынешней женой и их дочерью Полей. Тетю Лену и дядю Женю Митя знал хорошо, на разных этапах относительно много с ними виделся, а вот Аря помнила их смутно; с Полей они тоже были знакомы, хотя еще более смутно. Несколько раз они были в Москве, один из них проездом, да и жили у бабушки Ани и дедушки Ильи; как-то тетя Лена привозила Полю в Ленинград, но и это тоже было бегом. Однако на этот раз тетя Лена и дядя Женя собирались приехать со вполне конкретной целью. Митя узнал, что все они, включая московскую родню, собираются пойти на «Ленфильм»; это было интересно.

— Вам тоже будет интересно, — сказал отец, но потом добавил с некоторым сомнением: — Надеюсь, что детей пропустят.

— А кто она вообще такая? — недоверчиво спросил Митя.

— Актриса, — сказала мама, — мог бы уже знать.

— Как черепаха Тортилла? — спросила Аря, но мама только поморщилась.

Как обычно в таких случаях, вступился папа.

— Ее зовут Элизабет Тейлор. В наше время ее знали не меньше, чем черепаху Тортилле. Пожалуй, даже больше. Она даже играла царицу Египта. Вот Лена и хочет на нее посмотреть. А остальные решили ехать вместе с ней. Поедем в Пулковку их встречать.

— А почему у нее такое имя? — чуть подозрительно спросил Митя. — Она что, иностранка? Как Эдита Пьеха?

— Она совсем иностранка, — сказала мама, — из Америки. И великая актриса.

— Тогда почему она здесь? — не унимался Митя.

— Потому что она недавно снималась на «Ленфильме». В фильме «Синяя птица». И, вероятно, будет сниматься снова.

Все это было не очень понятно, но увидеть, как делают фильмы, тем более с великой актрисой, все равно очень хотелось. Еще через пару дней Митя понял, что после всех этих разговоров он уже ждет небольшого чуда. В Пулковку они действительно поехали, а вещей у их московской родни было столько, что казалось, что они тоже собираются сниматься на «Ленфильме». Митя даже ехидно подумал, что багажник закрыть не удастся, но, как оказалось, он неправильно представлял себе размеры багажника. Мама и Аря ждали их дома. Поля внимательно обошла и осмотрела квартиру, повалилась на диване, выглянула в окошко большой комнаты.

— Мне она не нравится, — вечером тихо сказала Аря.

— Мне тоже не очень, — ответил Митя.

— Но она наша кузина, — добавил он наставительно; ему иногда казалось, что он за Арю отвечает и должен читать ей нотации. Арина этого не переносила.

Поля оказалась избалованной, непредсказуемой и постоянно требовала к себе внимания. Чем-то неуловимым она была похожа на их московского двоюродного брата, сына дяди Жени от первого брака, Леву, которого они знали чуть лучше; но если в словах и действиях Левы постоянно скользила легкая обида, Поля вела себя так, как

будто ей еще никто не рассказал, что мир создан не только для нее. А вот ее родители, наоборот, были теплыми и заботливыми, особенно тетя Лена; удивительным образом, их заботы хватало не только на Полю, но и на Арю и Митю. Привыкнув присматривать за Полей, они как-то очень быстро перенесли заботу на всех детей вместе; этого тепла и внимания хватало на всех, и никто из них не чувствовал себя обделенным. А еще Полины родители регулярно покупали им всем мелкие подарки. Митя видел, что мама от этого морщится, но молчит.

— Портить чужих детей — дело нехитрое, — как-то сказала она отцу, сказала тихо, но Митя все равно услышал.

А вот с Элизабет Тейлор получилось странно. Арю с собой не взяли как слишком маленькую; отвезли ее к дедушке и бабушке, и она обиделась. Встретить их у проходной вышел кто-то совсем уж незнакомый, и их с Полей все же пропустили. Но даже из тех любопытных, которым по разным причинам и по большей части после основательных усилий разрешили в тот день прийти на «Ленфильм», собралась изрядная толпа. Элизабет Тейлор прошла мимо них, напоминая небольшое, довольное собою облако, но в ней не было никакого чуда, никакого секрета.

— На съемочной площадке она будет совсем другой, — уверенно сказала мама. Но узнать, так ли это, им не удалось; через несколько минут съемочный павильон наглухо закрыли; им только и оставалось, что бесцельно бродить по территории киностудии, нарываясь на раздраженные оклики, пока наконец тетя Лена не сказала разочарованно, что, похоже, стоит вернуться домой. Митя чувствовал себя немного обманутым; как будто ему лично пообещали чудо, а чуда не только не произошло, но было вовсе не понятно, кто и почему решил, что оно вообще могло произойти. А вот Поля совершенно не выглядела разочарованной. Казалось, что, наоборот, теперь ей достается еще больше внимания, и она этим очень довольна. Тем временем с Петроградской повидаться с московскими приехали дедушка и бабушка, разумеется, вместе с Арей.

— Она совсем не такая красивая, как в фильмах, — разочарованно сказала тетя Лена. — И вообще, ей было бы неплохо похудеть.

— Она великая актриса, — сказала мама.

— И ради этой толстой тетки мы летели в Ленинград? — вмешалась Поля со странным выражением, как будто говорившим: «Я вам говорила». — Ну тогда давайте хотя бы сделаем что-нибудь замечательное.

2

Они решили собрать железную дорогу. Ради Поли Мите и Аре разрешили разложить ее гораздо шире, чем обычно; занять ею всю большую комнату, протянуть ветки в спальни и даже через коридор в ванную. Только кухню им запретили занимать, там остались взрослые. Железной дороги у Поли не было, так что этой идеей она загорелась тоже. Митя объяснил ей, что гэдээровские домики к железной дороге нужно собирать и клеить самим; они продаются много где, но больше всего и самые необычные и удивительные домики надо покупать в ДЛТ. Что такое ДЛТ, Поля тоже не знала, но на самом деле ее это и не волновало; на ее глазах возникала целая страна. Они позвали нескольких соседских детей, включая, разумеется, Митинога друга и соседа Лешку, принесших и свои рельсы, и свои дома, и солдатиков, и даже грузинских каучуковых десантников и ковбоев. Дома расставляли вдумчиво, старательно, чтобы было похоже на настоящие городки и деревни, а, например, вокзалы или депо действительно примыкали платформами к рельсам, а не изображали непонятого назначения сооружения, вроде тех, которые можно было иногда обнаружить среди ленинградских предместий или окрестных совхозов. В палисадниках росли деревья, на газонах и подоконниках

светились яркие цветы; ящики с цветами они с Арей когда-то приклеили к окнам так аккуратно, что они казались настоящими. На платформах висели расписания поездов, на магазинах — афиши. Стрелки старались устанавливать так, чтобы дополнительные ветки вели в другие комнаты, а не просто упиралась в случайные глухие углы.

— Это же целая страна, — закричала Поля.

А когда Митя начал медленно поворачивать ручку блока питания и на недавно проложенных ветках железной дороги пришли в движение первые поезда, пассажирские и товарные, Поля подпрыгнула и захлопала в ладоши. Теперь уже и взрослые не удержались и пришли посмотреть.

— Это наша страна, — восторженно объясняла им Поля, — наша собственная страна. Мы выстроили собственную страну.

Потом повернулась к родителям.

— А почему у меня такой нет? — с легкой обидой спросила она. — Я тоже хочу свою страну. И еще: почему нет людей? Где все люди?

— Люди сейчас будут, — начальственным тоном сообщил Митя, — но, вообще-то, они, наверное, как в будущем, все работают или делают что-нибудь хорошее, и никто не слоняется просто так.

— Я не хочу работать, — сказала Поля, — даже в будущем.

— В будущем, — объяснил Митя, — все будут делать только то, что хотят сами. И тебя тоже никто не будет заставлять работать. Ты будешь хотеть сама.

— Не понимаю, — вмешалась мама, — где ты только успеваешь набраться всей этой чуши. Просто хоть не выпускай тебя из дома.

— А еще в будущем, — важно добавил Митя, указывая на ветвящуюся железную дорогу, — будут самодвижущиеся дороги. Как у нас сейчас.

— И гигантские статуи Ленина, — добавил Леша, — как у Финляндского вокзала. Между прочим, пока у нас нет ни одной.

Мама снова поморщилась. Тем временем один из Митиных приятелей по дому расставлял грузинских каучуковых ковбоев; бандиты собирались напасть на поезд. За неимением лучшего, а может, по причине недопонимания Арина расставила «свиньей» большую оловянную группу псов-рыцарей и ополченцев Александра Невского. Вперемешку они двигались в сторону кухни. Когда все были расставлены, Митя повернул ручку блока питания до упора, и от мягкого, медленного движения поезда и отдельные паровозы перешли к быстрому бегу. Один из паровозов неожиданно потерял вагоны и почти мгновенно исчез в спальне, Аря побежала за ним; другой почти сразу же перевернулся на неудачно выстроенном развороте.

— Целый мир, целый мир, — восторженно повторяла Поля.

Аря вернулась из спальни. Леша начал передвигать каучуковых ковбоев. Они явно замыслили что-то злодейское и противозаконное.

— Интересно, — вдруг сказала Аря, — а что за ним?

— За кем? — спросила Поля.

— Ну за этим миром?

Поля удивленно на нее посмотрела.

— В каком смысле? Там же ваша кухня. А тут выход на балкон.

Аря посмотрела на Митю тем особым взглядом, который говорил: «Она ничего не понимает». Митя кивнул.

— Там весь мир, куда нас не пускают, — объяснила мама.

— Наверное, — ответила бабушка, но ответила как-то непонятно, то ли детям, то ли взрослым, — до того, как спрашивать, что далеко, надо узнать, что рядом. Иначе этот вопрос вообще не имеет никакого смысла. У вас же теперь целая страна. Исследуйте ее. Достраивайте ее. Храните ее.

Поля заинтересованно на нее посмотрела. Тем временем, снова вынырнув из спальни, гостиную начал пересекать длинный товарный состав.

— Уходит поезд, — грустно сказал дед.

— Что-что? — спросила Аря, вероятно, что-то почувствовав.

— Есть такое стихотворение, — ответил он, — ты слышишь, уходит поезд.

— Я не слышу, — ответила Аря.

— Ты еще услышишь. Не знаю, к счастью или к сожалению, но ты не сможешь никуда от этого деться. Это как стук сердца. Тук-тук-тук. И услышав однажды, уже невозможно перестать слышать.

— А что потом? — спросила она.

— Ты слышишь, уходит поезд, — ответил дед, — сегодня и ежедневно.

Митя ничего не понял, но что-то подсказало ему, что переспрашивать не следует.

3

Той осенью произошло событие, оставившее свой след почти на всем, случившемся в дальнейшем, хотя, разумеется, тогда ни Арина, ни Митя не были способны ни понять его смысл, ни оценить его значение для будущего, еще не свершившегося во времени, хотя, конечно, уже свершившегося и пребывающего в вечности. Было тепло; шел редкий и мягкий снег, он кружился в воздухе, оседал на асфальте и сразу же таял, образуя мокрую, чуть хрустящую и быстро превращающуюся в воду массу. Они шли к Большому залу филармонии от метро «Невский проспект»; когда-то бабушка рассказала им, что именно здесь играли, «да, именно ту», когда их Ленинград умирал от голода и на него сыпались бомбы. Тот вечер уже не был открытием сезона, и все же еще на подходе, около огромных афиш, очерчивающих ближайшее будущее, чувствовалось легкое возбуждение. За лето многие стосковались по музыке и проходили мимо афиш неровным прерывающимся шагом, задерживаясь, изучая, пытаясь решить, на что бы еще прийти в ближайшие дни или недели. Несмотря на то, что у родителей был абонемент, у афиш задерживались и они, а Арина и Митя убежали дальше, вперед; так и дошли до угла. Впереди, через дорогу, окруженный уже облетевшим сквером, стоял еще юный Пушкин, вдохновенно и самозабвенно обращавшийся к их общему городу и миру. Позади Пушкина, в темном осеннем воздухе, в своей безупречной внутренней гармонии, в обе стороны уходило огромное здание Русского музея. Ярко горели фонари. За углом, на тротуаре, на краю площади, было не тольколюдно, но почти что тесно; здесь были вынуждены замедлять шаг. Вход в бывшее Дворянское собрание был относительно узким, двери тяжелыми, шапки почти все снимали еще перед входом, а в теплом предбаннике начинали разматывать шарфы и расстегивать пальто. Резко и отчетливо дохнуло теплым воздухом. Внутри было не просто тепло; скорее, даже жарко.

Они оказались перед знакомой широкой белой лестницей, и в сердце у Арины чуть защемило; она любила здесь бывать, хотя никогда не спрашивала себя почему.

— Наконец-то нормальные лица, — все еще недовольно сказала мама.

— Да будет тебе, — примирительно ответил папа. — В метро всегда тесно.

Они знали, что он не любит разговоры о людях «своего» и «не своего» «круга».

Как всегда, было много знакомых; здоровались еще на лестнице, но старались не задерживаться подолгу, чтобы не мешать общему движению. После Москвы Андрея все еще продолжало удивлять, что Ленинград, в сущности, относительно небольшой город; по крайней мере, «их Ленинград». Но пришли они поздно, и в гардеробе стояла очередь. Переобулись; входить в филармонию в мокрых или заснеженных ботинках никому, наверное, не пришлось бы в голову. Арина подумала о том, что Митя

как-то долго возится со своими башмаками. Папа собрал их пальто, шапки, шарфы, пакеты с сапогами и ботинками; получилась увесистая охапка. Они остались в очереди вместе с ним, а мама отошла к зеркалу. Папа аккуратно отдал всю эту охапку гардеробщику, потом чаевые; положил номерки во внутренний карман пиджака. Когда-то Арина спросила, почему в филармонии надо давать гардеробщикам чаевые, а в кино, например, никому и никогда.

— Так принято, — сказала мама.

Она и вообще обычно Арине мало что объясняла, и это было обидно. Потом вернулись на лестницу и поднялись в фойе; у входа в фойе купили программку.

— Я тоже хочу, — сказала Арина.

Папа заплатил еще за одну; Арине сразу же ее и отдал. В программке, как всегда, не было ничего интересного; только «анданте» и «аллегро нон троппо», которые она и так видела почти ежедневно. Когда-то Арина спросила маму, почему в Кировском театре к программкам отдельным вкладышем прикладывается краткое содержание; и в тот раз мама даже попыталась объяснить.

— Потому что, — ответила она, — на балет могут прийти люди, которые не знают, что во время балета произойдет, и нужно помочь им подготовиться.

— А в филармонии, — снова спросила Арина, — все всегда заранее знают, что произойдет?

— Потому что в филармонию такие люди прийти не могут, — как обычно, теряя терпение, ответила мама, и Арина подумала: «Ну так всегда». Мама никогда ничего ей не объясняла; наверное, не хотела.

Здесь в фойе было не только очень тепло, но и очень светло; нарядно одетые люди двигались по овалу, против часовой стрелки, тихо переговариваясь, временами уходя в боковые проходы. Постепенно фойе пустело; начали рассаживаться. Отправились к своим местам и они; места были абонементные, давно знакомые; если бы потребовалось, к ним можно было бы пройти и в темноте. Но в филармонии свет не гасили.

— А почему в кино свет гасят? — тоже когда-то давно спросила она маму.

— Для музыки не нужно гасить свет, — ответила мама.

Тогда Арина обиделась; и только впоследствии она поняла, что в тот раз мама действительно ей ответила. Музыка была видна и светилась сама, и чтобы ее увидеть, темнота совсем была не нужна. Надо было только вслушиваться, и тогда слух становился зрением. Но сейчас она и так вся была зрением. Низкие люстры, белые колонны с коринфскими капителями; красные бархатные кресла. Все как всегда. В тот момент она остро ощутила, что лето подошло к концу. Митя болтал с родителями, но Арина, пожалуй, не смогла бы внятно объяснить, о чем они говорили. Она смотрела на седые затылки в первых рядах; вышел и сел оркестр; кто-то откашлялся. В зале еще продолжали переговариваться, но как-то постепенно и, наверное, незаметно для себя переходя на шепот. Потом резкими уверенными шагами вышел Мравинский; без всякого позерства; казалось, он идет где-нибудь по дорожке у себя на даче. Было известно, что он дворянин, но при этом не антикоммунист. Мама этим возмущалась; «как человек из интеллигентной семьи может быть коммунистом?» — как-то сказала она.

Но Мравинского боготворили. Зал заплодировал. Наступила недолгая пауза. Мравинский приподнял руки и резким движением, как бы отталкиваясь от воздуха, очертил границу между осенью и музыкой, между зрением и слухом. Его движения не были драматичными, временами оставаясь едва заметными, и, как казалось, оркестр следовал за ними так легко и уверенно, как будто сам Мравинский был всего лишь внешним духом оркестра. Музыка наполнила все, и Арина перестала видеть; она следовала за музыкой шаг за шагом, концентрированным и ясным усилием ощущая контуры ее мгновенного движения и их место в неуловимом в каждый отдельный момент

величии общего единства. Только иногда, слишком внимательно следуя за одной из линий контрапункта, она упускала вторую, а потом мысленно пыталась восстановить их диалог, ту цельность, к которой они принадлежали, но отвлекалась и теряла обе. В такие моменты ей удавалось вернуть себя к движению музыки только после внутренней паузы и с мгновенным ощущением того, что она пропустила что-то очень существенное, что теперь уже не вернуть и не нагнать. Но музыка двигалась дальше, и это чувство быстро забывалось.

4

В начале антракта, когда все начали подниматься и поворачиваться, среди седых голов первых рядов Арина увидела дедушкиного друга Петра Сергеевича. Она не видела его уже больше года, но все равно почти мгновенно узнала. Тихо дернула Митю за рукав; «тс-с», — сказал он, ему хотелось пирожных; здесь в филармонии была кофейня с хорошей кондитерской. Но мама уже проследила за их взглядами. «Надо подойти поздороваться», — сказала она как-то без выражения. Они вышли в проход и, двигаясь против движения, подошли к Петру Сергеевичу; с ним была девочка приблизительно Митиных лет. Арина не сразу ее узнала, потом поняла, что это внучка Петра Сергеевича, а узнав, вспомнила, как ее зовут.

— Рад вас всех видеть, — сказал Петр Сергеевич, улыбаясь. — А это моя внучка. Катя. Да вы же с ней знакомы.

— Катя, — повторила она, смущаясь, как показалось Арине, еще больше, чем раньше, и левой рукой откинула за плечо светлые волосы.

В ней было нечто неуловимо раздражающее. «Только что книксен не сделала», — подумала Арина.

Медленно двигаясь вдоль прохода, а потом в сторону фойе, они поговорили об общих знакомых, о погоде, о настроениях в городе, о дирижерской интерпретации.

— Мравинский, конечно, гений, — сказал папа, — но, на мой вкус, в данном случае слишком жестко.

Арина мысленно с ним согласилась, хотя еще минуту назад думала иначе; она часто с ним соглашалась.

— А мне показалось, — возразил Петр Сергеевич, — что он как раз обнажил самое существенное, самую основу замысла. Некое гармоническое основание мысли. Как бы очистил его от всего, что могло бы отвлекать.

— В том числе и от чувств, — сказала мама. С ней Арина не согласилась; она еще помнила, как десять минут назад была полностью захвачена услышанным.

Внучка Петра Сергеевича молча улыбалась. За разговором они даже не спустились на первый этаж, так что не дошли и до буфета; но казалось, что про пирожные Митя уже забыл. Начали возвращаться в зал, а Арина и Митя отправились провожать Петра Сергеевича и Катю до их мест. Петр Сергеевич попросил передать привет дедушке. Пропустил перед собой Катю. Уже сидя, снова обратился к Арине и Мите вполборота. Но не успел он сесть, как, только что не растолкав Арину и Митю, к нему обратился незнакомый им человек. Поздоровался с Петром Сергеевичем, похвалил концерт и сразу же, почти скороговоркой, даже с некоторой обидой, рассказал, что неделю назад по ошибке попал на второй состав филармонического оркестра. Потом сказал, что «скоро начнут», и так же быстро и необъяснимо ушел.

— Дедушка, почему он тебя перебил? — спросила тогда Катя. Арине показалось, что Катя заговорила впервые, и этим она вызвала у Арины еще большее раздражение.

— Не обращайтесь внимания, — примирительно ответил Петр Сергеевич. — У него не очень хорошие манеры, но он выдающийся математик. Он сделал несколько epochальных открытий. При случае я вам про него расскажу.

Сияли люстры; слушатели начали рассаживаться. Арина тоже попрощалась и стала возвращаться к родителям. И только пройдя уже большую часть пути, она неожиданно обнаружила, что рядом с ней нет Мити; как это ни странно, он все еще разговаривал с Петром Сергеевичем и Катей. Сама Катя давно уже сидела на своем месте, тоже повернувшись к Мите вполоборота, а он продолжал с ней говорить, перегнувшись через спинку незанятого места. Арина удивленно и непонимающе взглянула на него, но Митя даже не заметил ее взгляда. Она увидела, что две сидевшие в следующем ряду седовласые дамы почти одновременно развернулись и с осуждением посмотрели на всех четверых; Арина была полностью на их стороне. Петр Сергеевич что-то тихо сказал Мите, Митя кивнул и побежал в сторону родителей. Но пробежав приблизительно полпути, «куда смотрят его родители?» — услышала Арина чье-то удивленное замечание, он неожиданно остановился и, снова повернувшись к ним обоим, замахал Катей. В этот момент Арина почувствовала странный укол, знакомый и незнакомый; так бывало, когда родители не обращали на нее внимания. Она не знала, как назвать это чувство, и, как ей показалось, быстро о нем забыла.

Снова вышел Мравинский, зал захлопал. Коротким жестом Мравинский прекратил аплодисменты, взмахнул рукой, и в образовавшуюся беззвучную пустоту вернулась музыка. Неожиданно для себя Арина поняла, что в этой музыке было то, чего она никогда не могла достичь, когда играла сама; и дело было не в технике. Она знала, что играет не очень хорошо, даже для своего возраста, и это совершенно ее не расстраивало. «Эта белобрысая, наверное, лучше меня играет», — подумала Арина, все еще раздраженно глядя в сторону седой головы Петра Сергеевича и его внучки, которую было едва видно из-за спинки кресла. Дело было и не в том, что звук ее фоно было невозможно сравнить со звуком оркестра; никому бы не пришло в голову их сравнивать. Наверное, думала она потом, дело было даже не в гении дирижера. И все же в эти минуты она ощутила что-то такое, чего никогда не ощущала раньше. Впоследствии она часто возвращалась мыслями и чувствами к этому переживанию, пытаясь найти, но так и не находя для него нужных слов.

То многое, случайное, изменчивое и текущее, что она так часто слышала в прошлом или разучивала сама, отступило под грузом объединяющего его единства; и этот груз оказался столь легким, что все то мгновенное и с известной степенью определенности подлежащее фиксации нотами, что она слышала в каждый конкретный момент, приподнялось над этим скользящим движением, над внутренним ощущением времени, оказавшись в воздухе, собравшись в то значимое единство, для которого она не могла найти верных слов. Ей казалось, что музыка стала прозрачной и через нее проглядывает что-то еще, другое, неуловимое, но несомненное и настойчивое. В этот момент Арина почему-то вспомнила около двух часов назад промелькнувший перед ее глазами желтый силуэт Русского музея, зависший в освещенном фонарями темном осеннем воздухе. Пожалуй, никогда еще она не слушала музыку так невнимательно, и никогда, ни до, ни после, не ощущала столь отчетливо проявившийся перед ее глазами смысл. Казалось, что воздух филармонии расступился и она увидела нечто по ту сторону воздуха.

— Дедушка, — спросила она через несколько дней, она не хотела говорить об этом с родителями; да и с Митей тоже, «пусть общается с этой дрессированной белобрысой», — подумала она тогда, — а что существует по ту сторону воздуха?

— Эфир, наверное, — улыбнулся он, — только эфира не существует.

— А я его видела, — спокойно и уверенно ответила Арина.

5

Той весной и тем летом Митя тоже осознал нечто важное, нечто такое, что тогда, разумеется, еще не мог сформулировать и тем более осмыслить; и все же само это смутное осознание, хоть и появившееся пока в случайном, хаотическом опыте, сохранилось у него в памяти. Это осознание касалось сущности пространства. В те годы они с Лешей постепенно начали проводить все больше времени без взрослых; бегали не только вокруг домов и по соседским дворам или изучали окрестности дачи, удаляясь от нее все дальше, разглядывая покрытые ряской лесные пруды с гулким чавканьем воды и отчетливым кваканьем лягушек, но и шатались по паркам, ближним и дальним, по улицам центра и широким новым проспектам, по стройкам и железнодорожным насыпям, взламывая двери, залезали в законсервированные городские бомбоубежища, иногда даже углублялись в Удельный лесопарк, приближаться к которому им было категорически запрещено. Разумеется, совсем не обо всем этом они рассказывали родителям и уж тем более не рассказывали о походах в лесопарк. А весной их давнее, практически несостоявшееся приключение с Элизабет Тейлор получило несколько неожиданное продолжение.

Митя вспомнил про нее случайно, через несколько лет, и решил узнать, кто же она такая; у «Брокгауза и Ефрона» ничего о ней не нашел, так что пришлось идти в школьную библиотеку, где была Большая Советская энциклопедия. От прочитанного Митя пришел в восторг и настолько увлек Лешу своим открытием, что они решили снимать фильм, вооружившись модернизированной кинокамерой «Аврора» с перфорацией «Супер 8». Арине, хотя она и была маленькой, они тоже разрешили присоединиться. На самом деле сначала камеру «Кварц» с более сложной оптикой, хоть и пружинным механизмом, родители им не дали, а другую купить отказались. Кинопроектором «Русь» пользоваться разрешили, но без своей камеры на нем можно было смотреть разве только выпуски «Ну погоди!» да еще короткометражки про Вицина, Моргунова и Никулина. Все трое были пьяными, и смешными им совершенно не казались. Так что без камеры проектор показался им совершенно бесполезным. Они с Ариной долго на это жаловались, и в итоге камеру им купили бабушка и дедушка. Как-то случайно Митя услышал обрывок ссоры на эту тему.

— Зачем вы портите детей? — говорила мама, да еще и на повышенных тонах, так, что было слышно через закрытую дверь, говорила едва ли не на пределе того, насколько было вообще принято повышать голос. Разумеется, приехавшие «отовариваться» родственники постоянно друг на друга орали, но это не определяло иную норму для них самих; скорее, просто превращало родственников в непреодолимо чужих. Они и были чужими.

— Мне вы таких дорогих игрушек не покупали, — добавила она.

— Ирочка, прекрати. Пусть снимают свой фильм, — спокойно сказал дед, а потом добавил нечто не очень понятное, но именно в силу своей непонятности так и не стершееся из Митиной памяти: — Все это очень хрупкое. Ты даже не представляешь насколько. Мне иногда кажется, что чуть коснешься пальцем, и все рассеется. И ничего больше не будет.

— Что тебе кажется здесь хрупким? — продолжила она, все еще громко, но, видимо, постепенно успокаиваясь; это была привычная тема и привычный разговор, так что орать именно сейчас особых причин вроде бы уже не было. — Что тебе кажется хрупким? Маразматические старцы? Тысячи ракет, которыми мы пугаем весь мир? Десятки тысяч танков? Да даже если все это вдруг и развеется, во что я не верю ни на минуту, человечество только вздохнет спокойнее.

Так у них появилась камера. А вот по поводу истории они долго спорили. Мите хотелось снимать фильм о ковбоях и индейцах, как в гэдээровских фильмах с Гойко Митичем или в тех фильмах, которые показывали в Доме кино на Манежной; Лешу же ковбой совершенно не интересовали, ему хотелось снимать фильм про то, как на нас нападают злые американские пираты, как в «Пиратах XX века», но они оказываются не только подлыми, но и слабыми, и мы их побеждаем; а Арина вообще хотела снимать сказку с эльфами, гномами, призраками и привидениями, чтобы было, почти как в «Хоббите». Была еще возможность, которая нравилась им всем, снимать фильм вроде «Неуловимых мстителей», и там могли бы быть и ковбой, и злые американцы, и привидения, но именно к такому фильму им никак не удавалось придумать сюжет. Так что пока они просто решили снимать фильм о том, как хорошие побеждают плохих: и американских разбойников, и привидения, и гоблинов, и бандитов из «Неуловимых мстителей», хотя побеждают, конечно, не сразу, а сначала иногда даже пугаются, но зато такой фильм они могли снимать по частям, придумывая каждый кусочек по отдельности и не вступая в бесконечные споры о том, что же именно они делают. Они пристроили к работе еще пяток соседских детей, одному из них родители тоже дали камеру, хоть и какую-то слишком сложную, и в разных составах они по полдня бегали по окрестным паркам и дворам, строительным площадкам и проходившей недалеко от дома железной дороге Москва—Хельсинки, по которой на самом деле в основном гоняли бесконечные товарняки, а потом уже летом по лесам вокруг дачи. Так практически случайно, разумеется, об этом не подозревая и все же постепенно расширяя круги увиденного внимательными глазами мысли, Митя едва ли не впервые соприкоснулся с сущностью пространства.

6

Второе его соприкосновение с мыслью о пространстве было скорее опытом свидетеля. В Кировском театре иногда бывали дневные балеты специально для детей; с одного из таких балетов они с дедушкой и Ариной возвращались. Решили немного пройтись; дойдя до ограды сквера, окружавшего Никольский собор, неожиданно увидели Петра Сергеевича и Катю, молча идущих по направлению к выходу вдоль широкой дорожки с оградой по сторонам. Яркое дневное солнце светило на голубых барочных очертаниях собора, высоких куполах, крестах, колокольне, стоящей отдельно, на самом берегу канала, зелени сквера. Петр Сергеевич шел чуть позади, ссутулившись; Катя думала о чем-то своем и смотрела вперед светлым отсутствующим взглядом. Дедушка жестом остановил детей, и когда Петр Сергеевич подошел поближе, окликнул его; тот удивленно поднял голову. Заулыбался. Катя, судя по всему, осталась к встрече равнодушной. Вместе они продолжили идти вдоль сквера.

— Как мне кажется, — неожиданно сказал Петр Сергеевич после того, как обычные приветствия остались позади и все они даже выдержали небольшую паузу, — когда вы, историки, даже великие, пишете о России или о Союзе, вы упускаете нечто очень важное. Что естественно. История — это наука о времени и о событиях во времени. Но о России нужно думать в первую очередь в пространстве.

— На мой вкус, — ответил Натан Семенович, — это звучит слишком философски и слишком обще. История — наука эмпирическая. Или, по крайней мере, старается такой быть, когда не хочет за себя стыдиться.

— Нет, нет, — возразил Петр Сергеевич. — Я имею в виду нечто очень простое и очень конкретное. Мы живем в самой большой наземной империи в истории человечества. В данном случае это не философская посылка, а факт, неизбежная контекстуальная данность самой мысли. Нельзя думать о России, не принимая его во внимание. А это

значит, что быть человеком именно в России — значит быть именно в таком пространстве. И быть в такой истории. Ты не согласен?

Натан Семенович взял секундную паузу.

— В таких терминах я никогда об этом не думал. Хотя это правда, конечно. Но что из этого следует? В какой-то более практической плоскости.

Они вышли на канал; солнце отражалось на мелкой ряби городских волн.

— Ты завтра вечером свободен? — спросил он.

Петр Сергеевич кивнул.

— Тогда приходи поближе к вечеру, — сказал Натан Семенович, — и Вера будет тебе очень рада.

Петр Сергеевич кивнул снова. Когда они с Катей ушли, Митя удивленно взглянул на деда; Митя редко видел его столь сосредоточенным. Иногда ему даже казалось, что дед думает, что знает ответы на все вопросы, и это раздражало.

— Почему его внучка всегда с ним? — спросил Митя. — А ее родителей ты никогда не приглашаешь? Они их прячут?

— Ее родители в командировке, — ответил дед.

— Где?

— Сын Петра востоковед. А его жена предпочитает жить вместе с мужем. Где бы это ни было.

— И что? — спросил Митя.

— Не то чтобы причины не были реальными, но мне как историку кажется, что нам все же не следовало туда соваться.

Дед почти всегда говорил понятно; так что было видно, что он думает о чем-то другом. Митя понял, что это связано с завтрашним разговором, и напросился на Петроградскую на следующий вечер. Арина отказалась наотрез; она уже поняла, что Катю не переносит. Но на этот раз Петр Сергеевич пришел один, без Кати. Устроились прямо в кабинете у дедушки Натана, среди книжных полок до потолка, напротив эркера. Митя сидел в самом углу кабинета тихо, почти как мышь.

— Глядя на большинство стран, — почти без предисловий сказал Петр, когда они сели, а Вера принесла пирожные и разлила чай по чашкам, — мы обычно в первую очередь ищем последовательность и причинность. В русском же пространстве все происходит одновременно. Избыток хаоса и избыток власти, исключительная внутренняя свобода и крепостное рабство, сложность и примитивность, крайности веры и цинизма, тотальность и духовности, и мещанства, не виданная по тем временам новгородская демократия и садистская автократия Ивана Грозного. И разные люди — они тоже одновременны; карелы и якуты. Да что там говорить. Мы сущностно обречены на противоречия и одновременность.

Натан внимательно его слушал.

— Точно так же в России интеллигенция и народ, — продолжал Петр, — как две стороны одного листа бумаги. Они созданы единым историческим процессом, их невозможно разделить, даже онтологически они не могут существовать друг без друга. Трагедия в том, что эти две стороны не только перестали друг друга понимать, но и перестают друг друга даже видеть.

— Для двух сторон листа бумаги, — ответил Натан, чуть усмехнувшись, — видеть друг друга было бы несколько странно.

— А ведь это еще и ответ на самый больной современный вопрос, — добавил он после короткой паузы, — красные и белые. И те, и другие правы. И те, и другие ужасны. И те, и другие укоренены в прошлом. Хотя и по-разному. Без тех и без других русскую историю уже невозможно помыслить. И настоящее тоже. Как две стороны одной монеты, одного листа, как ты бы сказал, одной одновременности.

— Наверное, ты прав, — ответил Петр, — хотя именно это мне труднее всего признать. Я много об этом думал, ты же понимаешь. Не люблю красных. И их зверства не люблю. Но если у одного человека десять домов, а у тысячи других нет даже своего угла, это та несправедливость, защищать которую невозможно. И уж тем более невозможно оправдывать, будучи христианином.

— Это ты мне говоришь? — спросил Натан. Впервые за весь разговор Петр улыбнулся, и Мите стало как-то сразу понятно, что такие разговоры они иногда ведут.

— Я говорю это тебе как историку, а не как еврею.

Теперь заулыбалась даже Вера; до этого она слушала разговор немного настороженно. В отличие от мужа, она не очень любила Петра и временами, хотя и без понятных оснований, даже подозревала его в том, что он скрытый антисемит. Но сейчас она заулыбалась искренне.

— А еще, — вдруг добавил Петр, — мы ведь страшно одиноки в этом пространстве. По ту сторону его границ у нас никого нет.

— Ты же знаешь, — возразил Натан, — в этом мы с тобой не сойдемся. Я убежден, что по очень многим признакам мы часть европейской цивилизации, но мы не чужие и для исламского Востока, а народы России связывают нас столь многими нитями со всем миром, что мало кто менее одинок, чем мы. Нам же все понятно, почти все в чем-то близки; мы понимаем и любим английские и американские романы, а они воображают нас медведями в буденовках.

Петр покачал головой.

— Вот именно, — сказал он, противореча собственному жесту, — все это поэзия, Блок. Мы уже когда-то жили этими иллюзиями и теперь снова начали ими жить. Никакая мы не европейская и не азиатская страна. Для танго нужны двое, ты не забыл? А они нас братьями не считают, и на нашу всемирную отзывчивость им наплевать. Когда мы Одер не переплываем, разумеется. Ты помнишь, как мы с тобой форсировали Одер, а? Как тогда казалось, что наступает счастливый новый мир?

— Но он во многом и наступил.

— Во многом. Но не потому, что у нас неожиданно появились друзья и братья. Помнишь, как мой дурачок у тебя здесь ораторствовал, что он славянин? Мои предки триста лет воевали за всяких братьев-славян, которые про нас вспоминают исключительно, чтобы как-то использовать. А где все они были, когда к нам приходили беды? Хоть кто-нибудь из них?

— По части братьев-славян я тебе не советчик, — усмехнувшись, сказал Натан, — да и, как мне кажется, ты все же немного перебарщиваешь. Ну что они могли сделать? Чем могли России помочь?

— Например, не вставать на сторону ее врагов.

— Допустим. Хотя вот что я действительно не понимаю, так это нынешнюю страстную любовь моей дочери и ее сверстников к прибалтам, Польше, Венгрии, Германии, прочим друзьям нашим драгоценным. Угнетенные, островки свободной Европы. И почему-то особенно именно те, у кого нацистские пулеметы еще спрятаны в сараях. Интересно, кроме нас с тобой, историю теперь вообще кто-нибудь не помнит?

— Дело не в этом, — сказал Петр, — дело в самой сути. Англия — не бриты, германцы или норманны. Это то новое, что стало всемирной цивилизацией. Точно так же и Россия. Россия — это то новое, что несводимо к своим древним частям. И в этом новом мы абсолютно одиноки. Мои предки умирали то за предполагаемых славянских братьев, которые их тихо ненавидели, то за будущее европейских народов. Благодарности это самопожертвование нам не принесло. Так что и устраиваться нам надо теперь самим. Без иллюзий. А возродить сейчас идею наций и есть непонимание России и русской культуры, ну, или Союза, если ты так предпочитаешь, как особой мо-

дальности бытия в пространстве. Это политика саморазрушения и самоубийства. Теперь я звучу достаточно практично?

— Да ты стал коммунистом, — изумленно ответил Натан.

7

— Ирина Натановна, как хорошо вы сегодня выглядите.

Она подняла глаза, улыбнулась.

— От вас почти всегда веет таким спокойным счастьем.

Снова улыбнулась.

— Может быть, просто осень кончается, — ответила она, — не люблю осень.

— Осень все ненавидят.

— Мне пора домой, — сказала она, — у нас в гостях мои родственники. Они обидятся, если я поздно приду. А у меня отличные родственники.

Ира вышла с работы, но пошла пешком. Было холодно; со стороны залива дул пронзительный ледяной ветер. Наверное, она еще и одета была не по сезону. Как-то почти перестала за собой следить; даже обращать внимание, в чем выходит из дома. Начала дрогнуть, но продолжала идти, стараясь держаться более защищенной от ветра стороны улицы. Уже прошли первые снегопады, так что у стен и вокруг деревьев лежал серый талый снег. Небо тоже было тяжелым, низким и серым; казалось, что еще немного, и облака начнут задевать за крыши домов. Стоял позднеосенний вечер, из тех бесконечных темно-серых ленинградских северных вечеров, когда день давно кончился, если вообще был, а ночь все еще не наступает. Домой Ире не хотелось совершенно; и вот уж кого она точно не готова была сейчас видеть, так это ее родственников из Хмельницкого. Ей казалось, что они много о чем догадываются, а вот отчитываться перед ними ей никак не хотелось; да и говорили они в основном сами, и говорили о себе. Было понятно, что, кроме них самих, их едва ли хоть что-то интересует. Кроме того, она вообще не понимала, почему они снова оказались у них с Андреем; почему Андрей дал на это согласие. У нее самой практически не было выбора; это же все-таки были ее родственники. Но от его бесхарактерности она устала. Родственники могли бы запросто пожить у ее родителей; хоть чем-то родители бы помогли, раз уж ни тепла, ни человеческой поддержки от них было не дожидаться.

Кроме того, Ира подозревала, что, несмотря ни на что, отец все равно поддерживает с Асей какие-то контакты; даже теперь, когда Ася уже переехала в Москву и поддерживать с ней какие бы то ни было отношения он никак не был обязан. Но он всегда любил племянницу; к сожалению, сильнее собственной дочери. Ира давно об этом догадывалась, но со времени всей этой истории это стало как-то особенно понятным; и боль от осознания этого чувства не проходила со временем. А то, что он поддерживает контакты с Асиной мамой, она знала наверняка. Отец даже не пытался это скрывать; «она же моя сестра», — говорил он. Хотя, казалось бы, в нормальной семье именно она, Ира, его собственная дочь, должна была быть для него на первом месте; но нет, ей можно было изменять и лгать, ее можно было пинать, обманывать, унижать, а у него все равно находились отговорки. Мама, конечно же, встала на ее сторону, но тоже встала так странно, что, может быть, лучше бы она просто промолчала.

— Ирочка, — говорила она, — ты все выдумываешь. Ничего у Андрея с Асей не было и быть не могло.

То, что у них что-то было, Ира была уверена; женское чутье в таких вещах не ошибается. А ведь Ася была ее двоюродной сестрой. Да, они никогда особо не ладили, но это не было отговоркой; это не было вообще ничем. Если бы это не была ее собственная кузина, подумала Ира, с этим, наверное, было бы как-то проще смириться. Хотя

все равно, зная обо всем, продолжать молчать, каждый день возвращаться в дом к практически чужому человеку, ради детей продолжать разыгрывать эту пустую и унижительную комедию было невыносимым. Но чем больше энергии у нее уходило на то, чтобы продолжать играть эту заранее проигранную роль, тем меньше душевных сил и, видимо, тепла оставалось для детей. Они постепенно отдалялись. А еще дети ничего не чувствовали и продолжали требовать и только требовать. Кроме того, ее же собственные родители настраивали детей против нее; в этом она тоже была практически уверена. Да еще и пичкали их этим гнусным советским бредом. Все это было отвратительно; ей было больно об этом даже думать. И во всем этом не было ни единой отдушины. Ира чувствовала, как серый, тяжелый, промозглый вечер проникает в каждую пору тела, давит на нее, прижимает ее к земле. Несмотря на сильный западный ветер, ей казалось, что она задыхается. Потом она поняла, что продрогла и устала до такой степени, что ноги сейчас подогнутся, и она просто упадет. Каждый следующий шаг давался ей с трудом. Ира дошла до трамвайной остановки и, даже не взглянув на номер, села в какой-то трамвай.

Трамвай трясся, дребезжал и петлял, ощутимо подпрыгивая на рельсовых стрелках; он двигался куда-то в сторону порта, а потом, наверное, за Нарвскую заставу. Улицы здесь были темнее, а фонари казались совсем тусклыми. Делать ей там было нечего, но Ира подумала, что всегда сможет вернуться на метро. Наверное, было бы хорошо узнать, какой это был номер, но и на это у нее уже не было сил. Она решила, что в крайнем случае доедет до кольца, а там переседет на тот же номер в обратном направлении и когда-нибудь все равно доберется до какой-нибудь станции метро. Ей было все равно до какой; казалось, что ей уже вообще все все равно. Но неожиданно она поняла, что какая-то посторонняя мысль прервала теперь уже обычный для нее поток внутренней горечи; это была мысль о том, что трамвай красный. Она точно знала, что он красный; красными были все трамваи. «У них даже трамваи красные», — с ненавистью подумала Ира. Выглянула в окно. Свет от трамвайных окон двигался вместе с нею сквозь холодную ленинградскую ночь. Ее захлестывало волнами боли, одиночества, безнадежности, оставленности; затягивало тяжелым холодным морем бездомности, ненужности и отсутствия любви. Временами пассажиры входили и выходили; выходили чаще, чем входили. Трамвай был уже почти пустым, а за окнами наступила ранняя ночь. На каждой остановке из открывающихся дверей падал поток холодного воздуха. «Чтоб всех подобрать, — подумала Ира, — потерпевших в ночи крушение, крушение».

Вся эта ситуация Андрея изрядно раздражала. Ирка непонятно где шлялась, дети были у ее родителей, а он сидел на кухне с ее же родственниками и был вынужден вести с ними какие-то совершенно дикие разговоры. И тот ее аргумент, что приезжают же к ним временами его брат с женой, совершенно не убеждал, потому что одно дело Лена или ее Поля, которая с обоими детьми как-то замечательно подружилась, а другое эти дикие родственники из Хмельницкого, которых сама Ирка не переносила, хотя всячески это отрицала. И вообще, почему они жили у них, а не, например, у Иркиных родителей? Или у Асиной мамы? При мысли об Асе ему стало еще тошнее; вот о ней точно не следовало думать. Уже два года он старательно себе это запрещал, и обычно ему даже удавалось этому запрету следовать.

К счастью, Иркины родственники уже, кажется, скупили весь Гостиный двор и половину Пассажа, и вечером должны были уехать. Собственно говоря, через пару часов ему самому и предстояло посадить их на поезд; было даже непонятно, почему именно сейчас он вдруг так разозлился. Как-то же переносил он их все эти дни, только старался не слышать ничего из того, что они говорили. Иркины родственники тем

временем продолжали говорить, но поскольку Андрей еще несколько дней назад решил, что эту белиберду человек понять не способен да ради душевного здоровья и не должен пытаться, то даже если бы он сейчас вдруг и решил попытаться понять, о чем они говорят, ему бы, вероятно, это не удалось, потому что предыдущие серии он все равно не видел. «Часть седьмая. Здесь можно поесть, — мысленно сказал себе Андрей, пытаясь успокоиться, — потому что я не видал предыдущие шесть». В этот момент он с удивлением понял, что его благодарят. Оказалось, что на всякий случай они хотят выехать заранее, чтобы не опоздать на поезд или не пропустить его, если поезд неожиданно перенесут.

— За что? — спросил Андрей.

— За гостеприимство, — сказал тот, кого Андрей мысленно именовал «муж», хотя на самом деле его звали Вовчиком. Андрею казалось, что у подобных людей имен вообще быть не может; они казались ему существами, не вполне одушевленными.

— Евреи должны друг другу помогать, — добавил муж Вовчик, — тем более родственники.

Андрей кивнул.

— Хотя тот еврей, который взял на работу Оксаночку, помнишь, мы тебе рассказывали, нам вообще не родственник. А вот где-то сработало.

Андрей кивнул снова.

— Ага, — сказал он, — просто хороший человек.

— И хороший еврей, — подхватила «жена», та самая Оксаночка, которую неизвестный ему человек и взял на работу.

Андрей разозлился еще больше. «А ведь, с другой стороны, некрасиво, — подумал он, — что я мысленно отказываюсь называть их по именам. Все это как-то дурно». Но и остальное было так себе. Он знал, что перебороть презрение он способен далеко не всегда.

— Жаль, что детей не увидели.

— Я же вам говорил, — скучно ответил Андрей, — Ирины родители их забрали. Боялись, что вам будет тесно. Они вас очень любят.

Гости недоверчиво переглянулись.

— А Ира тоже не придет с нами попрощаться? — расстроено и немного обиженно спросили они.

Андрей пожал плечами.

— Не знаю, — сказал он, — у них там аврал на работе.

Гости еще раз обиженно переглянулись.

— Ладно, — сказала Оксана, — передавай ей привет. Насильно мил не будешь. Большое вам спасибо.

Они собрали вещи и покупки, а Андрей проводил их на Московский вокзал. Посадил в поезд. Дождался отправления. Выдохнул с облегчением. «Я боялся, что они тихо вылезут и снова окажутся у нас дома», — подумал он и твердо решил, что в следующий раз они будут жить у Иркиных родителей. Впрочем, нечто подобное он уже решал в предыдущий раз; но по не очень понятной причине Иркины родственники снова оказались у них. Да еще и сама Ирка решила перевалить их на него. «Интересно, а правда, как там дети?» — подумал он; причем, он знал, что обычно на Петроградской скучно им не бывает. Скорее уж Ирка потом выходит из себя от того, что им успевают наговорить ее родители; Андрей в их отношения старался не вступать.

— А почему ты нам это рассказываешь? — спросила Арина, неожиданно осознав почти что кожей уже знакомое по прошлому, но все еще немного странное волнение понимания и предчувствия.

Бабушка снова посмотрела на нее.

— Ты стала взрослее, — ответила она. — Ты очень быстро становишься взрослее. Вы должны знать, кто вы есть и кем вы никогда не сможете быть.

— Мы сможем быть кем угодно, — убежденно и упрямо сказал Митя. — Я недавно прочитал, что человек, как змея, которая сбрасывает кожу.

«Как змея, — удивленно глядя на внука, подумала Вера Абрамовна, — которая сбрасывает кожу времени. Или как ящерица, которая отбрасывает хвост. Еще немного, и они отбросят хвосты. Я буду старой и буду держать в руке мертвый хвост. Будет их весна, а я буду стоять с мертвым хвостом в руке в мире, который уже не буду понимать. Они будут скользить все дальше в глубину падающего на них времени».

— Потому что снова скоро зима, — сказала она внукам, — и потому что еще немного, и мы отпустим вас навстречу будущему. Не потому, что нам так хочется; просто у нас не будет выбора. Я не знаю, как вам это объяснить. Наверное, когда придет время, вы почувствуете это сами. На самом деле я хотела сказать вам нечто очень простое. Мы голодали, нищенствовали, работали днем и ночью, считали граммы блокадного хлеба, считали квадраты, по которым на Ленинград падали немецкие бомбы, ждали звуки черных «воронков»; но мы оставляем вам страну, которая, наверное, простоит еще сотни лет. Ваши родители избалованы сытостью, а им кажется, что они голодны и обделены. Иногда мне становится страшно за то, что они могут натворить. Мне хочется, чтобы хотя бы вы о нас помнили.

Арине стало казаться, как будто она снова оказалась на той дальней временной даче на Выборгском заливе, где они и пробыли только пару месяцев, так полностью и не ставшей знакомой, с долгой дорогой до нее, в лодке, ползущей в тумане, среди камышей и водяных лилий, плывущей невидимыми низкими скалистыми берегами; она слышала плеск воды, падающей с пластиковых кончиков весел, вокруг лежал туман, а водой из протоки лодку сносило все дальше от безлюдных необитаемых шхер и песчаных отмелей.

— Мне стало страшно, — сказала ей Арина. — Почему ты никогда нам об этом не рассказывала?

— О чем? — спросила бабушка.

— Обо всем этом, — сказал Митя. — Ну обо всем том, о чем ты говорила сегодня. О войне. О прошлом. О будущем. Обо всем. Ты же понимаешь.

— О времени, — уточнила Арина, — о тумане, о лилиях, о ящерицах, о змеях, о том, как бывает страшно.

— Бывает очень страшно, — согласилась бабушка, — Но это не главное.

— А что главное?

— Была такая старая еврейская песня, — ответила она, — «Мир — это очень узкий мост. И главное, ничего не бояться». Но так не бывает.

9

Обивка казалась чуть потертой, а доски пола уходили из тени в свет; взгляд скользил вдоль них сквозь открытую дверь веранды, кратко обрываясь на невидимых ступенях и продолжаясь вдоль садовой дорожки. Почти вся посуда, стоявшая перед ним, была простой и по сравнению с домашней, удивительно белой; а в центре стола находился большой заварочный чайник, прикрытый кухонным полотенцем. Солнце стояло высоко, и стол почти полностью прятался в тени. Дальше же, за спинами сидевших напротив них, все светилось, солнечные блики наполняли лакированные доски пола. Митя подумал, что было бы хорошо взять еще одну конфету, а потом, наверное, еще одну; вкус шоколада сладко держался на языке. Он сложил фантик пополам, потом

еще пополам и осторожно положил под блюдце; то же самое он сделал еще с тремя фантиками, лежавшими рядом. Теперь они были почти незаметны, и можно было попытаться добраться до следующей конфеты, но мама посмотрела на него так, что он отдернул руку.

— Которая по счету? — спросила она, глядя на Митю пристально и с нескрываемым неодобрением.

Московские бабушки никогда бы так не поступили. «Митенька, ты хочешь еще конфет? — мысленно спросил он сам себя, с нежностью посмотрел на воображаемую бабушку Аню и бабушку Асю и для убедительности добавил: — К ужину, маленький, я принесу еще. У нас за углом очень хорошая булочная». «Булошная», — мысленно повторил Митя по-московски, зачарованный воспоминанием о знакомом, но одновременно и чужом великом городе. Он еще раз с обидой посмотрел на конфетницу, но время было очевидно неподходящим. «У твоей мамы по утрам всегда плохое настроение», — как-то объяснил ему папа. Впрочем, сейчас папа не мог ничего объяснить и даже, по видимости, не заметил их молчаливого спора вокруг конфетницы, потому что был всецело погружен в разговор. Он сидел, откинувшись на спинку, упираясь ладонями в столешницу и глядя чуть поверх их голов; а дядя Валера, наоборот, ссутулился, нагнувшись над столом, глядя папе прямо в лицо.

— Тебе, — говорил дядя Валера, — всегда и всюду мерещится ветер перемен. Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Какой ветер, куда, зачем. Что было, то и будет. Не один, так другой, что ты от них хочешь. Это как союз писателей. Хороший бюрократ, плохой бюрократ. О чем ты вообще говоришь.

— Так не может продолжаться, — ответил папа. — Все же всё знают, производство падает, стагнация мысли, стагнация искусства, стагнация чувств. Общество, которое не создает нового, разрушает сами основы своего существования.

— В этой стране ничего не может измениться, — упрямо возражал дядя Валера. — Ты посмотри на их пыжиковые шапки, посмотри на все это быдло перед ларьками и экранами телевизоров. И это от них ты ждешь понимания? От них ждешь изменений?

— Вы можете не при детях? — вмешалась мама с нарастающим раздражением.

— Что не при детях? — спросил ее папа. — Что воруют всё, до чего удастся дотянуться, а эта война, похоже, никогда не кончится? Ты думаешь, к детям это не имеет отношения? Что они будут жить на другой планете?

— Пока что к детям имеет отношение в основном то, что ваши бессмертные мысли они будут пересказывать в школе, — ответила мама. — Хорошо, тогда уйдем мы.

— Ирина Натановна, что вы, — с опозданием заторопился дядя Валера, — мы в любом случае как раз собирались пойти на залив. И можем взять с собой детей. То есть что я говорю. Как раз не можем взять с собой детей, потому что там сегодня ветрено, и дети могут простудиться.

— Нам кажется, что время стоит на месте, — продолжал говорить папа, поднимаясь, — но это не так. Я вспоминаю, как все было десять лет назад, и это было по-другому. А теперь и вообще многое станет явным. В переменах есть внутренняя необходимость, которой невозможно противопоставить ни индивидуальную, ни коллективную волю. Но от нас зависит то, куда они будут направлены.

— От нас не зависит ничего, — ответил дядя Валера, неожиданно остановившись на самом пороге веранды. — Что зависит от тебя? Что зависит от меня? Ты обманываешь себя, потому что тебе легче так думать. О какой исторической необходимости ты говоришь? Это же чистый марксизм. А правда в том, чтобы признать свое историческое бессилие и жить достойно вопреки истории. Все остальное самообман. Мы не можем выбрать историю, но можем выбрать себя в истории.

— И это не самообман? — закричал папа, почти выталкивая дядю Валеру из как-то неожиданно сжавшегося растрюба двери веранды. — Да это же звучит как все эти разговоры про богочеловека.

— Не вижу ничего нелепого в разговорах о богочеловеке, — ответил дядя Валера. — Наоборот, из всех возможных разговоров они мне кажутся едва ли не самыми разумными. По крайней мере, гораздо более разумными, чем разговоры про то, что все вокруг неожиданно превратится в земной рай.

— В рай земной не превратится никакая страна, — донесся уже от самой калитки удаляющийся ухающий голос папы.

— Кстати, — вдруг сказал дядя Валера, на несколько секунд задержавшись у забора, — ты помнишь ту странную древнееврейскую рукопись, которую мы тогда нашли? Я почти случайно выяснил, откуда был взят этот текст.

— Правда? — удивленно спросил папа. — Честно говоря, я уже и думать про нее забыл.

Потом они услышали негромкий деревянный стук и чуть дрожащее металлическое позвякивание.

10

Мама выпила еще глоток, чуть слышно поставила чашку на блюдце и с показным вниманием посмотрела на них с Ариной.

— Ну? — сказала она все тем же «отсутствующим» утренним голосом.

— Мы пойдем, — сказала Арина.

— Идите, — ответила мама, — только на участке, хорошо?

— Хорошо, — согласился Митя.

Они спустились с веранды и быстро отбежали в глубь зелени. Здесь между соснами была подвешена доска качелей, и Арина сразу же на ней устроилась. Пахло густой хвоей и ранним летом. Мите ничего не оставалось, кроме как усесться на мох и прислониться к стволу сосны.

— Почему ты сказал «хорошо»? — спросила она.

— А почему я не должен был говорить «хорошо»? — возмутился Митя.

— А почему ты должен говорить «хорошо»? — снова спросила Арина, раскачиваясь все сильнее. — Вот взяли бы велики и поехали, — добавила она.

— Мама бы все равно тебя не отпустила.

— Почему это? — спросила Арина насмешливо.

— Потому что ты маленькая, — ответил Митя наставительно.

Арина презрительно посмотрела на него и продолжила раскачиваться. Верхушки сосен зашелестели, стихли, зашелестели снова.

— И куда бы мы поехали? — вдруг спросил он.

Арина зашелестела ногами по земле, веревки качелей прогнулись, она почти остановилась и посмотрела на Митю сверху вниз.

— Куда бы мы поехали? — повторила она, задумавшись, но потом снова засветилась. — Мы бы поехали к Анне Андреевне.

— Мама не любит, когда ты так говоришь, — ответил Митя, — Анна Андреевна умерла. Это могила. Ты не можешь так говорить о могиле. Кроме того, ты никогда ее не видела. И вообще, если мы туда поедem, мама отправит нас в магазин, потому что это «по дороге».

— Ты ее тоже никогда не видел, — победоносно парировала Арина и продолжила, перебивая саму себя: — Я видела фотографии. Она такая красивая. И еще папа нам ее

читал. А в магазин я все равно не пойду. Ни за что. Ну хорошо, тогда бы мы поехали на залив.

Теперь настала Митина очередь почувствовать себя правым.

— На залив мама бы нас точно не отпустила, — победно сказал он, — потому что она не хочет, чтобы мы слушали, о чем говорят папа и дядя Валера.

— Она никогда не хочет, — ответила Арина. — Это наша семейная тайна, а она не хочет, чтобы мы ее знали. Я знаю, что не хочет. Но мы все равно все узнаем. Обязательно узнаем, правда?

Она оттолкнулась ногой от земли и снова начала раскачиваться. Здесь наверху пахло неожиданно подступившим ветром с залива.

— Ты слышала, как папа сказал, что теперь многое станет ясным? — вдруг спросил Митя. Арина подумала и кивнула.

— А дядя Валера про этого богочеловека, — добавила она, немножко подумав. — Это, наверное, как снежный человек, только такой особый, от Бога?

— Дедушка Илья говорит, что никакого Бога нет, — ответил Митя.

— А дедушка Натан говорит, что это нас самих нет, а Бог он как раз и есть. Хотя как это так нас нет? Как это может быть, чтобы нас не было? Ты лучше скажи, почему это дедушки бывают такие разные?

Митя задумался.

— Но мы все равно все узнаем, — повторила Арина, еще подумав, — или папа нам расскажет. Он же сказал, что теперь все всё узнают. Я думаю, что нам он расскажет первым. Если ему мама не запретит.

Мама спустилась с веранды и подошла к ним.

— Как это тебе не надоедает качаться? — с неодобрением спросила она.

— Я хочу к Ленке, — ответила Арина, стараясь говорить капризным и обиженным голосом. — Она нас вчера приглашала, а ты нас не отпускаешь. У них вот такой, — она раскинула руки, чуть не упав с качелей, — ньюфаундленд.

— Ты сейчас упадешь и сломаешь шею, — сказала мама. — Но к Лене идите, всяко лучше, чем шататься от ворот до забора.

Боясь, что она передумает, они выбежали из дома, быстрым шагом прошли вдоль по улице, свернули направо, огляделись, еще раз повернули направо, по тропинке пересекли железную дорогу, прошли мимо яблонь, цветущих необыкновенным влекущим светом на даче композитора Соловьева-Седова, миновали еще несколько домов и даже тот большой двухэтажный деревянный дом, на который родители всегда показывали с особым почтением, потому что там когда-то жил сам Шостакович, которого они ходили слушать в филармонию и который был у них на пластинках. Свернули направо еще раз и, как в глубокую южную воду, нырнули в сосновый северный лес.

— Мы можем спуститься к заливу лесом, — объяснил Митя, — и здесь нас никто не увидит.

Арина побежала по тропинке, медленно спускающейся под гору. Лес был почти без подлеска, и ей вдруг захотелось бежать без оглядки, направо, налево, бегать кругами по уютному земляному ковру; а в просветах между соснами светилось яркое небо, под которым — по ту сторону узкого песчаного пляжа со старыми лодками — лежала мелкая вода залива. Ей вдруг стало казаться, что где-то там внизу под этим неожиданно синим небом и находится то время, о котором говорил папа, когда все станет ясным, время, которое уже близко и которое мама почему-то хочет от них спрятать. Арине показалось, что и она сама вся наполняется тем неясным безадресным предчувствием нового и значимого, которое охватывает детей — или, точнее, которое происходит с детьми, вдруг отрывающимися от детства, чтобы, как им продолжают повторять и как они верят сами, начать дорогу к знанию и любви, но на самом деле

чтобы начать свое долгое падение в пустоту смертного времени. Комната Арины находилась на втором этаже, и перед сном, когда дом уже затих, затихли соседние дома, и даже во многих дальних окнах погас свет, она тихо открыла окно, прижалась к подоконнику и, не зная, как назвать это чувство счастья, ожидания, предчувствия и полноты, погружаясь в прозрачный обморок чувств, долго вдыхала запах весеннего сада и весенних звезд.

Митя уже спал, и ему снилось, что где-то там, за могилой Анны Андреевны, за Щучьим озером и озером под названием Красавица, даже за поселком Симагино и военной базой, куда им категорически запрещалось ездить на велосипедах, где-то за дальними карельскими болотами в темноте появляются люди. Один за одним, они поднимались, выпрямлялись, как-то странно потягивались и начинали идти, привлеченные дальним запахом света. Во сне ночь была почти что беззвездной, а серая луна висела совсем низко над вершинами елей. Небо у них за спинами было высвечено совсем тускло, но даже этого тусклого света было достаточно для того, чтобы очертить эти черные, бесцветные, медленно движущиеся фигуры. Скрытые становились явными. Их было много, они были и ближе, и дальше; оказываясь на полянах и прогалинах, выступали отчетливее, высвечиваясь почти до самой земли темными силуэтами; другие же почти полностью пропадали в темноте подлеска. Они шли медленно, но твердо, упрямо и неотступно; Мите стало казаться, что земля постепенно наклоняется и опрокидывается ему навстречу. Ему показалось, что еще немного, и елки, и подлесок, и подступающие темные фигуры покатаются навстречу; но этого не произошло, они лишь подходили все ближе, все четче вырисовывались в просветах лунного неба. И тут кто-то закричал. То ли это кричали бесцветные люди, то ли он сам не выдержал и стал кричать в своем сне. Митя проснулся; но время, сделав свой первый ход, так больше никогда не согласилось остановиться.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВЕСНА

Действительность создается лишь в памяти.

Пруст

1

Теплая галька в ладонях; Арина переворачивала камни, чуть-чуть их сжимая, откладывая в сторону. Приблизила камень к глазам, широко раскрыла ладонь, вблизи мелкие точки на поверхности камня стали разноцветными. Она замерла и тотчас же услышала, как шумит море, негромко, но широко и чуть торжественно. Воздух был пропитан густым и счастливым запахом теплого моря, а от той гальки, что лежала поближе к косогору, подальше от кромки прибоя, пахло тиной. Несколько лет подряд они снимали здесь дачу между морем и подножием гор, в густой прибрежной зелени, рядом с городком под названием Алупка. Точнее, как объяснила ей мама, дачу снимал дедушка Илья, но как раз он-то бывал здесь наездами. То придет на целую неделю, привезет множество подарков, а то надолго исчезнет, и на все вопросы, когда он вернется, ей будут отвечать недовольно и туманно: «У него много работы». А как-то дедушка приехал и на следующий же день уехал в Форос, дальше по берегу; уехал утром, а вернулся вечером, расстроенный и озабоченный. Из аэропорта в Ялту ходил троллейбус, настоящий городской троллейбус, точно такой же, как к метро «Политехническая», но здесь он шел между горами, вздрагивал на поворотах и постепенно спускался к морю. Это было удивительно и странно. Из Ялты до Алупки они уже добирались

обычным автобусом. В то лето они жили здесь все: и Митя, и Поля, и Лева, и мама, и тетя Лена, и бабушка Аня, и даже дядя Женя приехал и остался с ними на целый месяц. А вот папа не поехал с ними вовсе, уехал то ли копать, то ли реставрировать, то ли и то и другое, какой-то свой монастырь, и за это Арина на него немного обиделась.

Когда они приехали, море было еще холодным, конечно, не таким, как дома, но все равно, прыгая в него, приходилось на несколько секунд задерживать дыхание, а потом оно стало теплым, почти как ванна. А еще море было глубоким. По нему было невозможно подолгу брести по щиколотку в воде, как на даче; Арина делала несколько шагов вперед, и вода начинала быстро касаться плеч, потом она чувствовала, как ноги отрываются ото дна, выпрямлялась и начинала плыть, стараясь вытягивать ступни и правильно дышать, как ее когда-то учили в бассейне. Но плавать до буйка ей не разрешали, а вот Мите и Поле разрешали; это было несправедливо и обидно, плавала она лучше их обоих. Теплыми стали и вечера, эти странные крымские вечера, наступавшие рано и быстро, как будто кто-то просто выключал свет. Арина подумала о том, что, когда они уезжали, за окном было так светло, что если проснуться посреди ночи, то в сероватом свете были видны и соседние дома, и земля, и небо. А здесь по вечерам, вдоль окруженной желтым светом фонарей дорожки, стояли черные тени кипарисов, высокие, острые, почти что и непохожие на деревья, а в уже невидимых кустах стрекотали цикады. В черном небе горели удивительно яркие и близкие звезды, а тетя Лена учила их правильно называть созвездия. Завтракали на террасе. Вечером к ступенькам террасы приходили ежи; Арина это заметила и начала оставлять им молоко в блюдце, постепенно приучая заходить все дальше в дом. По деревянному настилу террасы ежики топали удивительно громко. Она лежала, вглядываясь в теплую крымскую темноту, вслушиваясь сквозь открытое окно в близкое топанье ежей и дальний стрекот цикад, стараясь не уснуть, но все равно засыпала.

А еще здесь было необыкновенно много времени, и дни казались бесконечными. Митя подружился с окрестными детьми, с некоторыми из них еще в прошлом или позапрошлом году, а вот Арине с большинством из них было скучно; совсем не так, как с книгами. С книгами, как с ежиками, ей не было скучно никогда. Она начинала читать, и шаг за шагом перед ней приоткрывались огромные незнакомые миры, чужие края и страны, джунгли и степи, дни и ночи, прошлое и будущее. Эти миры вспыхивали, наполнялись жизнью и движением. Иногда она погружалась в книги с разбегу, как в море, как тогда, когда они только приехали, и оно еще было холодным, почти что задерживая дыхание, а иногда, наоборот, заходила в книгу осторожно, мелкими шажками, почти что на цыпочках. Были дни, когда Арина читала и на берегу, под всем своим телом чувствуя выпуклости гальки, упираясь в нее локтями, стараясь устроиться удобнее, а потом о ней забывая, и до самой ночи, до бабушкиного, ласкового, «Дети, пора спать» и маминого, чуть раздраженного, «Сколько тебе надо повторять, отложи книгу, я сейчас выключу свет». Она прожила множество жизней, бывала и мужчинами, и женщинами, и девчонками, и мальчишками, и всякими удивительными зверями, и даже всевозможными существами, о которых дедушка Илья говорил, что их не существует, вроде хоббитов или эльфов, и она тоже знала, что их, разумеется, не существует, но они были более ясными, насыщенными, полными жизнью и смыслом, дышащими, более настоящими, чем то, что дедушка называл «настоящим». Она видела их перед глазами и, казалось, могла потрогать за руки.

Арина бродила по этим мирам, наполнялась их чувствами и дыханием, ожиданиями и страхами; их небольшая крытая терраса почти исчезала, раскрываясь огромными окнами в удивительные, захватывающие пространства. Она попыталась поделить этими переживаниями с мамой, и мама рассказала ей про воображение; но Арина ничего не поняла. Много позже, вспоминая этот разговор, она подумала о том, что ни-

какого воображения от нее и не требовалось, ни тогда, ни потом, только внимание и способность идти вперед, не уставая и не теряя восторженного интереса. Ее тело оставалось с книгой, в потрепанном кресле террасы, на пляже или в постели, но она забывала об этом застывшем в почти полной неподвижности теле, отрываясь от него, оставляя его позади, и с головой уходила все дальше в эти удивительные переживания, в прекрасное дальнее, оказавшееся близким, незнакомое, страница за страницей становящееся осязаемым и телесным, наполненное смыслом и чувствами.

А еще Арина чувствовала в этих книгах что-то такое, чего в окружающем ее мире не было или, по крайней мере, что она не была способна увидеть и ощутить. Это чувство захватывало, даже наполняло восторгом, но чем же это было, она не могла себе объяснить да никогда себя об этом не спрашивала. Чем-то неясным и неуловимым книги напоминали ей о том, что она пережила в филармонии тогда, осенью. Иногда она откладывала книгу в сторону и продолжала представлять себя там, среди происходящего; она была собой и была другими, теми, о которых она читала, и это было одновременно. А в один из особенно длинных дней она уговорила Митю, Полю и других окрестных детей устроить свой театр, отгородив кусок сада простыней, повешенной на бельевой веревке. На этой импровизированной сцене они начали играть то, о чем она читала, и с этого дня ей стало с ними интересно. Это было как фоно, но без мучившей ее учительницы музыки, и этим фоно были они все, а музыкой — и берег, и море, и барашки на воде, и кипарисы, и дальние скалистые горы, и весь мир вокруг.

2

Несмотря на постоянное присутствие взрослых, большую часть времени они были предоставлены самим себе. Точнее, не совсем так. Уходить далеко в одиночку Арине не разрешали; так что ее головокружительное и, как говорил дядя Женья, «запойное» чтение было обусловлено еще и этим. А вот вместе с Митей и Полей им разрешали ходить почти что куда угодно. Они бродили по извилистому черноморскому берегу и по узким деревенским улицам, много купались и даже залезали на скалистые, покрытые лесом, горные склоны, иногда по узким тропам, а иногда и без них. Как-то в один из раннеавгустовских дней они устроились на берегу, на самом краю галечно-го пляжа. Это был один из тех дней, когда к ним, почти как всегда неожиданно, приехал дедушка Илья и попросил разрешения присоединиться к ним на берегу. Он сел спиной к дому, прислонившись к валуну, а они устроились вокруг него, расположившись неправильным полукругом. Несмотря на его жесткий характер, деда Илью Арина любила, но в тот день ей хотелось вернуться к книге, так что в разговор она начала вслушиваться не сразу.

— А почему все такое разное? — вдруг спросила она.

Дед удивленно на нее посмотрел. Митя и Поля тоже, но и чуть раздраженно; было похоже, что она прервала разговор, который их занимал.

— В каком смысле разное?

— Когда я смотрю на море, — объяснила Арина, — оно совсем не такое, как горы, или как наш дом, или дорожка с кипарисами, а когда я смотрю на небо, оно совсем другое и еще не такое, как у нас.

— Потому что вокруг все разное, — нетерпеливо объяснил ей Митя. Она была умнее его, и ее раздражало, когда он начинал говорить с ней, как с ребенком.

А вот дед неожиданно задумался; замолчал. Огляделся вокруг.

— Ты знаешь, — ответил он, — древние евреи думали, что мир обращается к нам разными сторонами. И что эти стороны с нами как будто говорят. Евреи называли их

сферами. Они считали, что существуют, например, сфера любви и сфера справедливости. И что мы можем увидеть одну из них. Или несколько.

— И мы всегда их видим? — спросил Митя, неожиданно заинтересовавшись.

— Нет, конечно.

— Так что же нужно сделать, чтобы их увидеть? — вмешалась Поля.

Дедушка улыбнулся. Покачал головой.

— Ничего, — ответил он. — Я же вам сказал, это сказка. Но когда-то евреи в нее верили. И верили, что мир полон этих сфер. Или их сиянием. Точнее, что мир из них как бы состоит.

О чем-то задумался. Но Арине показалось, что она его поняла.

— Значит, весь мир вокруг нас, — переспросила она, — и море, и горы, и даже наши ежики — это такие сферы? А почему?

Дед снова покачал головой.

— Нет, не совсем. Точнее, совсем нет. Древние евреи верили, что сферы — это Бог. Нет, скорее наоборот. Что иногда Бог обращается к человеку напрямую, а иногда людям открываются только сферы, и эти сферы тоже бесконечны, как Бог, но они не часть Бога. В каждой из них Бог присутствует весь, а вот нам видна только одна его сторона. Евреям вообще было очень важно, что Бог всегда один.

— И их видно, — вмешался Митя, — как созвездия ночью? У них тоже есть имена?

— Почти, — как-то неохотно и неожиданно неуверенно ответил дед.

— Почему почти? — спросила Арина.

— Потому что часто в мире бывает так темно, что сфер почти что не видно. Или не видно совсем.

— А почему бывает темно? — снова спросила Арина.

— Те древние евреи думали, что прекрасный сотворенный мир разбился, а человеческие души, как искры, похоронены под его руинами. Они называли это другой стороной.

Дед оборвал себя на полуслове. Задумался опять. Потом все же продолжил:

— На самом деле я никогда этого не понимал. Отец — да, отец читал такие книги. Тайно. Он же был комбригом. В детстве мне казалось, что он немного сходит с ума, когда их читает. Я начинал его бояться, хотя он был очень хорошим человеком. И он рано умер.

— А зачем он их читал? — спросила Поля.

— Сложно сказать. Я не знаю. Может быть, так было принято в его семье. Его отец, мой дед, вроде бы оставил письмо с описанием одной из таких сфер. Так что отец верил, что у его семьи есть особая связь с этой сферой. Не знаю, почему он так решил. Но он в это очень верил. Что с этой сферой связано какое-то особое семейное предназначение.

— У нашей семьи? — уточнила Арина.

— Аря, — с легким беспокойством ответил ей дед; было похоже, что ее вопрос вернул его к реальности, — я же вам сказал, это сказка.

— А с какой? — спросила его Поля.

Он покачал головой.

— Хватит. На сегодня хватит.

— Ну, пожалуйста, — повторила Поля, — дедушка, милый, ты только скажи с какой, и я сразу от тебя отстану.

Было видно, что он колеблется. Арина знала, что Полю дед очень любит.

— Обещаю.

— Хорошо. Евреи называли ее сфера Гевура. Не знаю, как это правильно перевести. Сфера силы. Нет, не то. Сфера мужества. Сфера героизма. Но это напыщенное слово. Да это и не об этом. Я не знаю. Сфера стойкости. Наверное. Наверное, сфера стойкости.

Арина попыталась себе ее представить, но окружавшие ее небо, море и горы ни во что такое не складывались. Она вообще не знала, как эту стойкость следует представлять. Начала думать о чем-то таком из Жюль Верна и Майна Рида и вдруг услышала, как Поля спрашивает:

— И у нас всех есть с нею связь?

— Поленька, я же тебе уже говорил, что это сказка. Со сказкой не может быть связи.

— А папа, — вмешался Митя, — говорил, что во время раскопок они нашли что-то такое на древнем еврейском про сферу стойкости.

Дедушка Илья заметно вздрогнул.

— Ты выдумываешь.

Дед вопросительно посмотрел на Арю, но она ничего такого не помнила, и ему снова ответил Митя.

— Не выдумываю. Дедушка Натан тогда еще сказал, что нашел кого-то, кто умеет читать по-древнееврейски.

— И что там было написано?

— Я не помню. Что-то про дорогу, и море, и про гору, на которую можно подняться. А еще про выбор.

— Странно, Андрей ничего такого не говорил, — медленно сказал дед, и его лицо стало еще жестче и тяжелее, как будто он пытался что-то им неизвестное то ли вспомнить, то ли забыть.

— А папа знает про эту сферу? — спросил его Митя.

— Не думаю, — дедушка снова покачал головой. — Хватит того, что он забывает себе голову древнерусскими байками. Один пришел с толпой хулиганов, сжег и ограбил соседа, потом пришел другой и сжег первого. Вон он и сейчас там что-то такое копает. Никогда не понимал этой страсти. Еще древнееврейских историй вашему папе не хватает.

Сначала Арина обиделась за папу, но потом вспомнила, что и сама на него за это обижена.

— Дедушка, — спросила она, — я поняла, что про семейное предназначение — это выдумка. Но то, что Бог состоит из этих сфер, — это правда?

Он удивленно на нее посмотрел.

— Бога не существует, — ответил он. — Тебе в школе еще не успели это объяснить?

— А дедушка Натан говорит, что Бог существует.

Поля хмыкнула так громко, как будто встретила живого крокодила.

— Ваш дедушка ошибается, — коротко ответил дедушка Илья.

Они увидели, что по подходящей к пляжу песчаной дорожке к ним спускается тетя Лена. Со стороны моря дул легкий предсумеречный ветер, и ее сарафан с широкими ляжками на плечах чуть колебался.

— Пора ужинать, — сказала она, подходя, — Чем это вы здесь столько времени занимались?

— Легендами и мифами, — своим обычным спокойным и твердым голосом ответил дед, но Арине почему-то показалось, что ему немного неловко.

— Молодцы. Теперь будете знать больше о тех, в чью честь названы звезды. Завтра проверим, что вы запомнили.

— Леночка, — ответил дед, — мы говорили не о древнегреческих, а о древнееврейских мифах.

Она удивленно посмотрела на деда, но ничего не сказала. По уже остывающей гальке они пересекли пляж все еще босиком, потом обулись и начали подниматься по дорожке. Арина шла последней. Она оглянулась на море и постаралась увидеть их невидимую Сферу стойкости. Начинало темнеть.

3

В школу они поступили, как все, по благу. Так что в отличие от большинства детей из соседних домов, ходивших в школу только что не в домашних тапочках и уж явно не успев проснуться, до школы им приходилось некоторое время добираться. Сначала их отвозили родители, потом ездили сами. Раздевались и переобувались в гардеробе, поднимались по высоким лестницам, расходились по широким коридорам. Портретов Ленина было довольно много, с его доброй улыбкой и светлыми глазами, но именно в силу их будничности к ним быстро привыкали и переставали замечать, как, наверное, привыкают к доброму домовому. «Витальская Арина Андреевна», — своим неуклюжим квадратным почерком, так часто раздражавшим учителей, выводила Арина на обложках тетрадей и сама себе начинала казаться взрослее. Школьные дни часто были бесконечными, даже за один урок столько всего успевало произойти, а уж тем более за целый день, да и после школьного дня оставался еще один почти что настоящий день, совсем другой, непохожий на школьный, за который можно было столько всего успеть, хотя в основном уже в сумерках. Когда они немного подросли и обычно в день было по шесть уроков, часто так и получалось: из дома выходили затемно, при рассыпающемся в воздухе коротком свете желтых ленинградских фонарей, и возвращались тоже в сумерках, которые поближе к Новому году становились все более похожими на поздний вечер. А вот школьные годы, наоборот, оказывались короткими; известное однообразие дней собирало их воедино, и, неожиданно оказавшись в мае, они обнаруживали, что прошел целый год и из школы они выходят в яркий день, а не в счастливый сумеречный вечер. Школьный год кончался, и начинались белые ночи.

Коричневое форменное платье Арине нравилось, хотя гладить его она не любила и обычно отказывалась; так что гладить приходилось маме, эмоций при этом не скрывавшей и довольно подробно объяснявшей, что растит не дочь, а свинью. Повседневные черные передники Арине нравились тоже, а белые раздражали, казались слишком напыщенными. Белый кружевной воротничок, наоборот, нравился, особенно с тех пор, как немного игрушечный значок с Лениным-ребенком сменился на пионерский значок с огненными листьями, а поверх накрахмаленного воротничка она начала повязывать красный галстук. Галстук был мягким и трогательным, по утрам от него пахло теплым запахом утюга; он был совсем непохожим на важные папины галстуки, хотя и ее галстук тоже безобразно мялся, еще больше, чем платье и передники, особенно если, выбегая из дома утром, она не успевала его повязать и незаметно от мамы просто запихивала в карман пальто. У Мити были темно-синий форменный пиджак и брюки, а на рукаве сияло оранжевое солнце над раскрытой книгой. Митиной форме она временами немного завидовала. У него тоже был галстук; такой же, как у нее, такой же, как у всех. А еще в галстуке, свободно повязанном поверх воротничка, она себе нравилась. Поначалу иногда даже вытягивалась перед напольным зеркалом и радостно рассматривала свою так видимо обретенную юность, хотя пока что не принесшую в ее жизнь ничего существенно нового, и кончиками пальцев разглаживала этот счастливый красный галстук на коричневом платье. Как-то мама застала ее за этим занятием, но почему-то не рассердилась, а вечером Арина услышала, как мама одобрительно говорит по телефону, кажется, бабушке: «Наконец-то в ней проснулись женские инстинкты». Арина поняла, что этому следует радоваться. Но дружила она все равно в основном с мальчиками.

4

Как-то утром, еще толком не проснувшись, Арина почувствовала, что трусы были влажными; удивилась. Отбросила одеяло. Увидела на трусах яркие пятна, похожие на

кровь. Она испугалась и встала. Внизу живота болело. Несколько пятен крови было и на простыне. Она сняла трусы и начала внимательно их рассматривать, чувствуя, как неожиданно сильно бьется сердце. Месячные начались у нее относительно поздно, так что от девочек в классе что-то такое она уже слышала; но это что-то было достаточно смутным, и Арина не была уверена, что речь идет именно об этом. Она поняла, что все еще немного испугана. Подруг столь близких, что она могла бы их об этом расспросить, у нее не было, а откровенных разговоров с мамой она давно уже старалась не вести. Но в данном случае выбора не было. Она влезла под душ, переделалась и принесла маме испачканные кровью трусы. Мама взглянула на них и коротко объяснила ей, что именно следует делать и как правильно пользоваться ватой. Арина внимательно слушала и старалась все запомнить.

— Это не опасно? — спросила она.

— Нет.

— И скоро это пройдет?

— Дня через три-четыре.

— И все?

Мама раздраженно посмотрела на нее.

— Что все?

— И все пройдет?

На этот раз мама поняла ее вопрос.

— Нет, так будет каждый месяц.

Ощущения были неприятными, и Арину это расстроило. Она задумалась.

— А что это значит? — спросила она.

— Что ты стала женщиной.

Мамин ответ озадачил ее еще больше. Арина могла много что о себе рассказать, часто в себя всматривалась, но то, что она является женщиной, казалось ей далеко не самым важным из того, что она знала и думала о себе.

— А что это значит, — настойчиво переспросила она, — что я стала женщиной? И кем я была раньше?

Она неожиданно заметила, что теперь смутилась ее мама. Это было крайне странным. Такого с мамой не происходило почти никогда.

— Это значит, что теперь ты можешь родить ребенка, — ответила она с видимым усилием, — или детей. Хотя тебе это еще нельзя.

Этот ответ показался Арине еще более бессмысленным. Среди ее подруг и сверстниц не было ни одной, у которой бы были дети. Да и ей самой никакие дети совершенно не были нужны. Дети относились к миру взрослых, она бы и не знала, что с ними делать. Даже в детстве куклам, которых ей настойчиво навязывали родители, она предпочитала плюшевых зверей.

— Хватит пустых разговоров, — сказала мама снова раздраженно, — пойди займи себя чем-нибудь полезным.

Но приблизительно в то же время у Арины начала расти грудь, и она росла неожиданно быстро. Почти каждые несколько дней Арина замирала в ванной и заново рассматривала себя в зеркале. Иногда ей казалось, что грудь еще выросла, а иногда, что ей это только кажется. Потом она заметила, что постепенно грудь становится мягче. Мама купила ей первый лифчик, и со странной, непривычной на вкус смесью удивления, неловкости и легкого стыда Арина научилась его на себе застегивать. А еще стало интересно следить за тем, как ее одноклассники вместо того, чтобы смотреть в глаза, все чаще стали смотреть на ее грудь возбужденными и чуть растерянными взглядами. Симпатии к ним эти взгляды Арине не прибавляли.

5

Несмотря на всю яркость и осязаемость тогдашних переживаний, большинство событий того времени запоминалось неотчетливо, обрывочно, и уже по прошествии года память сохраняла лишь их размытые контуры. Но бывало и наоборот. То, что казалось незначительным и случайным, даже не событием вовсе, а, скорее, мелким повседневым фактом, незаметно начинало прокладывать широкую борозду в память будущего. Так однажды вечером, в очередной раз решив заставить Митю почитать вслух, что он делал с видимым раздражением, от раза к разу только нараставшим, мама неожиданно его прервала.

— Это невыносимо, — сказала она Мите и папе одновременно, — у тебя такой акцент, как будто ты вырос в Магнитогорске. Это невозможно слушать.

Где этот Магнитогорск находится, Арина не знала, но поняла, что французскому лучше там не учиться.

— Что ты от него хочешь? — ответил папа. — У Арины музыкальный слух, у Мити его нет. Не вижу в этом большой драмы. Значит, он не будет петь в церковном хоре. Прости, в синагогальном.

Мама раздраженно на него посмотрела, но ничего не сказала. Через два дня она принесла комплект пластинок фирмы «Мелодия» и перед ужином вручила их Мите.

— Будешь ежедневно их слушать и повторять слово в слово.

Митя тоскливо и почти что обреченно кивнул.

— Je m'appelle Pierre, — начиналась первая пластинка, — Je suis étudiant. Je suis russe. Je suis né à Kalinin.

Дальше начиналась совсем уж какая-то белиберда, и Арина ушла, порадовавшись тому, что исправлять магнитогорское произношение от нее не потребовали. Но и сквозь стенку она слышала тоскливое Митино бормотание. Вышла из своей комнаты, снова подошла поближе к его двери и услышала, как на одной ноте, почти без всякого выражения, Митя рассказывает себе о том, что он студент Петя из города Калинина. В Твери Арина никогда не была, хотя по дороге в Москву или в Крым они всегда ее проезжали. Поскольку память у Мити была значительно лучше его слуха, пластинки он быстро выучил наизусть, раз за разом начиная их слушать с самой первой, произношение его, как чуть ехидно сообщила ему Арина, от этого не улучшилось, и всю эту историю она почти забыла и забыла бы совсем, если бы история с магнитогорским произношением и пластинками не получила бы неожиданного продолжения. Без всякого вступления Митя признался ей, что за это время так привык говорить о себе как о Пете из Калинина, что иногда представляет себе этого Петю, точнее, представляет, что он сам и есть Петя, пытается угадать, как и где он, Петя, там живет, в этом загадочном придорожном Калинине, что он делает, чем занимается, чему он учится и как учится, что он любит и есть ли у него друзья. Ей показалось, что Митю и тянет к этой невидимой второй жизни, и он немного ее стыдится. Арину это рассмешило, представить себя студентом Петей из Калинина она не могла, и она предложила немедленно рассказать обо всем этом маме, но почему-то Митя этого не сделал.

Но и у нее самой была похожая, немного постыдная тайна. Как-то в конце четверти им задали выучить по одному английскому стихотворению, но не из учебника и даже не из домашнего чтения, а просто на свой выбор. Английскую поэзию Арина не очень любила. О чем в ней шла речь, она относительно хорошо понимала, но вот в качестве поэзии в настоящем, русском смысле Арина ее обычно не воспринимала; английские ритмы были какими-то размытыми, немного бесформенными и ускользающими, а избильные словесные украшения, хоть часто и неожиданные, не высветляли, а затем-

няли смысл. Даже Шекспир в переводах Маршака, как ей казалось, очень выигрывал, хотя величие Шекспира она, конечно же, понимала и признавала. А вот в случае поэтов помельче разница особенно бросалась в глаза. Казалось, что даже самое простое, наподобие «Вас встретит радостно у входа», никто из них написать не был способен. Все это она изложила маме, которая на этот раз не ответила сразу, а задумалась; уже это было немного странно. Через несколько дней, как выяснилось впоследствии, посоветовавшись с дедом, мама принесла ей только изданный, казалось, еще пахнущий типографией английский томик Киплинга издательства «Радуга». К некоторому своему удивлению, Арина нашла у Киплинга ясные ритмы, точность слова, выразительность деталей, внутреннюю силу. Она выбрала монолог старого центуриона, получившего приказ возвратиться в Рим из Англии. На самом деле это был не совсем монолог, центурион обращался к легату, но легата слышно не было. Дедушка объяснил ей, что стихотворение написано в форме популярного в период королевы Виктории «драматического монолога», и рассказал, как важно для таких поэтических монологов держать ритм, не комкать текст, расставлять паузы в нужных местах.

— Это была культура империи, — добавил он, — а империя живет невысказанным.

— Почему? — спросила Арина.

— Почему что?

— Почему невысказанным?

Дедушка задумался.

— Наверное, потому, — после паузы ответил он, — что о том, что выше быта, говорить сложно, а часто почти невозможно.

Вечером Арина неожиданно вспомнила об их Сфере стойкости. Ей показалось, что уже выученный ею монолог центуриона как-то с нею связан, но объяснить себе, как именно, она не смогла; эта связь мерцала и ускользала. Так что Арина даже немного потренировалась перед зеркалом, чего обычно не делала. На следующее утро вышла перед классом и начала читать.

Legate, I had the news last night — my cohort ordered home
By ships to Portus Itius and thence by road to Rome.
I've marched the companies aboard, the arms are stowed below:
Now let another take my sword. Command me not to go!

Почти что в трансе она продолжала декламировать, увлеченная чеканным киплинговским ритмом и неразрешимым трагизмом того, о чем рассказывала. Потом вернулась на свое место, все еще в полутрансе-полусне от чужого языка, неожиданно ставшего своим едва ли не до боли души, и последующие стихи почти не слушала. Когда урок закончился, англичанка попросила ее остаться. Арина понимала, что прочитала стихотворение очень хорошо, не только ни разу ничего не перепутав, но и не сбившись с ритма, выдержав смысловые акценты; так что ей было приятно, что англичанка хочет похвалить ее отдельно.

— Ты очень хорошо прочитала.

— Спасибо, — сказала Арина.

— А почему ты выбрала именно это стихотворение?

К этому вопросу Арина не была готова, и он ее озадачил.

— Не знаю. Мне оно понравилось.

Англичанка продолжала как-то внимательно, оценивающе и, как вдруг поняла Арина, совсем недружелюбно на нее смотреть.

— Скажи, — сказала она, — у твоих родителей есть проблемы с законом?

Арина не могла поверить, что действительно это слышит. И еще в этом было что-то такое, чего Арина не понимала.

— Нет, конечно.

— А с советской властью?

Теперь уже она смотрела на англичанку, зрачки в зрачки, не отводя взгляд. Она начинала чувствовать холодную ярость; такое с ней происходило редко, но произойти могло, и в таких случаях ей становилось все равно, кто перед ней, Митя или сам Леонид Ильич Брежнев. А еще от непонимания происходящего, смешанного со смутным ощущением угрозы, ей захотелось англичанку ударить. Та чуть откинулась, немного отвела взгляд, но продолжала настаивать.

— У твоих родителей проблемы с советской властью?

— Вот сами их и спросите, — ответила Арина, развернулась, быстро, но не бегом вышла и с грохотом хлопнула дверью класса.

— Сначала спрошу, кто научил тебя хлопать дверями, — закричала ей вдогонку англичанка.

Но в школу пошли не родители, а неожиданно оказавшийся в Ленинграде дедушка Илья.

— О чем ты с ней говорил? — спросила Арина.

— С кем?

— С англичанкой?

— Кто тебе сказал, что я вообще с ней говорил?

Добиться от него большего ей не удалось, но до конца года англичанка ее больше не спрашивала, не спрашивала вообще, даже когда Арина сама тянула руку, так что она довольно быстро поняла, что тексты про Марка Твена и английскую газету «Утренняя звезда» можно больше не учить. С ее соседкой по парте Настей они играли в морской бой едва ли не на виду у всех, но даже в этом англичанка им не мешала. А на следующий год англичанку перевели в другой класс.

6

Много лет спустя Арина поняла, что из многого происшедшего и происходящего память сохраняет в основном то, что действием либо хотя бы отзвуком, счастливым, насмешливым или трагичным, протянется в далекое будущее. Так произошло и на этот раз. Весной того же, следующего, года снова прилетел дедушка Илья; сказал, что просто приехал их проведать. Спросил Арину, как дела с ее англичанкой. В воскресенье они гуляли по набережной, была поздняя весна, тепло, лед давно сошел, и по Неве, несмотря на дневные часы, проходили большие корабли. Дед шел твердым и ровным шагом, поочередно на них оглядываясь.

— Отсель грозить мы будем шведу, — немного насмешливо сказал он, проводя взглядом медленно движущийся корабль, но при этом его жесткое лицо почему-то сохраняло серьезность.

— Они же с тех пор изменились, — ответил Митя, — и им, наверное, уже не надо грозить. Вон финны к нам часто приезжают, и они совсем не злые. Только пьяные. Ну так и наши часто пьяные.

Арина подумала, что как-то так обычно говорит мама, и Митя просто пересказывает ее слова. Мама еще неодобрительно добавляла: «Почему-то нам постоянно хочется кому-нибудь грозить».

Дед на секунду остановился.

— Это сейчас финны хорошие и продают нам сыр «Виолу» и ананасовый сок, а еще совсем недавно они пытались убить твою бабушку голодом.

Арина вздрогнула, как бывает, когда порыв холодного зимнего ветра неожиданно наполняет одежду и прикасается к телу; Митя удивленно посмотрел на деда, а тот задумался. Некоторое время они продолжали идти молча.

— Понимаешь, — объяснил дед, — за мою жизнь несколько раз бывало так, что мне казалось, что больше ничего не будет. Нас не будет, страны нашей не будет, и вы бы тогда не родились. Такое сложно забыть. Но получилось иначе. И теперь мы оставляем вам страну, над которой никогда не заходит солнце и представить без которой мир может только сумасшедший. Но все равно иногда я останавливаюсь, и мне начинает казаться, что все это слишком легко разрушить. Не думаю, что это действительно так. А у вашего поколения такого чувства уже не будет.

— А что будет дальше? — вдруг спросила Арина. — Она же огромная и сильная, а мы что перед ней, каждый из нас?

Дед остановился, положил руки на гранитную ограду набережной. Потом повернулся спиной к Неве.

— Ты знаешь, — сказал он, — когда я был лейтенантом, все вокруг было непонятным, а часто и очень страшным. Даже то, что именно делает наш полк, обычно было неясным, про дивизию мы знали в основном по слухам, а уж про армию или фронт только по радио. И не то чтобы я один ничего не понимал. Такими были мы все, по крайней мере, все вокруг меня. У некоторых, конечно, были всякие теории; так всегда бывает. Хотя было бы лучше, если бы они честно признавались, что тоже ничего не понимают, как и все остальные. Если нам приказывали наступать, мы наступали. Иногда нам это не удавалось.

— Так часто бывало? — удивленно спросила Арина; иногда дед Илья казался ей почти всесильным. Наверное, он бы начал казаться ей совсем всемогущим, если бы давным-давно дед Натан не объяснил ей, что всемогущим может быть только Бог. Если этого хочет. Дедушке она очень верила.

— Бывало, что не удавалось? Часто.

Арина снова вспомнила об их легенде о Сфере стойкости, но что-то ей подсказало, что на этот раз говорить о ней с дедом Ильей не стоит.

— И что вы тогда делали? — спросила она.

Дед снова замолчал, на этот раз ненадолго.

— Но потом прошло время, — продолжил он, — и наступил день, когда я вдруг понял, что мы выросли, что позади нас больше никого нет и что решения теперь принимать именно нам, моему поколению. Мы их и принимали, иногда лучше, иногда хуже. Но в целом, что бы ни говорили ваши родители, мне кажется, что мы делали это совсем неплохо. А скоро вырастите вы. А потом уже и за вами никого не будет, и решать, чем будет человечество, придется именно вам. Не вам лично, так сказать, всем вам собирательно.

— Человечество? — удивленно спросила Арина.

То, что говорил дед Илья, звучало странно и неожиданно напыщенно. У них дома говорить так считалось дурным тоном; так могла говорить советская пропаганда, но ее никто не воспринимал всерьез, даже не слышал толком, как часто становился неслышным привычный шум ветра.

— Человечество, — спокойно, но довольно твердо подтвердил дед. — В мире есть только две страны, которым предстоит решать, что будет с человечеством, каким оно будет, да и будет ли оно вообще. На ваших плечах будет лежать ответственность за одну из них, с этим ничего не поделаешь, а значит, и за всех людей. Иногда мне все еще кажется, что потерять будущее гораздо проще, чем мы думаем. К сожалению, ваши родители этого не понимают. Может быть, мы слишком их избаловали. После такой ужасной войны хотелось от всего их защитить.

Арина слушала его, и ей вдруг начало казаться, что она стала старше своих родителей. А вот Митя смотрел на деда странно и немного непонимающе. Дедушка повернулся, и еще некоторое время они продолжали идти по набережной молча.

— Поэтому ты тогда и рассказал нам про Сферу стойкости? — неожиданно спросил его Митя.

Дед покачал головой.

— Нет. Мне вообще не следовало пересказывать все эти древности. Не знаю, что на меня тогда нашло. Я был расстроен. Со мной такое тоже бывает.

Он улыбнулся.

— А по-моему, это было ужасно интересно, — возразила Арина.

Она вспомнила об этом разговоре, кажется, через год, когда по телевизору показывали фильм «Гостя из будущего». Книгу «Сто лет тому вперед» она любила. А вот ощущения от фильма остались у нее смешанные; сама Алиса ей очень понравилась, и у Алисы был такой же красный галстук на стоячем белом воротничке, как у нее самой. Но и остальные дети были такими же, как они сами, так же говорили, так же одевались, так же улыбались, так же увивали от ответов и переписывались во время уроков, знакомыми были и квартиры, и улицы, и дворы. Да они практически и были их с Митей ровесниками. А вот фильм в целом ей скорее не понравился, и особенно не понравились эпизоды, в которых на экране кривлялся какой-то робот, которого в книге не было вовсе. Это было нелепым и отталкивающим. И все же когда в конце пятой серии Алиса начала прощаться и рассказывать своим новым, хотя теперь уже почти бывшим друзьям, кем они станут в будущем, у Арины защемило в душе, и она не могла оторвать глаз от экрана. Кто-то из них Алису переспросил, и она ответила, что в будущем все будут необычными, уникальными и единственными.

— Да вы все и сами увидите, — добавила она.

— Как же мы увидим, — спросил Фима, — если нас туда не пускают?

— Своим ходом, — ответил кто-то, кажется Садовский, — год за годом и доберетесь.

«Интересно, а что бы она сказала мне?» — неожиданно подумала Арина. Но потом Алиса повернулась лицом к зрителям и посмотрела на них прямым, пронзительным и неожиданно грустным взглядом. Ее грусть была столь отчетливой и глубокой, что Арина вздрогнула. Оглянулась на Митю, но, как ей показалось, он ничего не заметил. «Что же такое она знает о нас в будущем, — изумленно подумала Арина, — но не хочет рассказывать?» В ту же секунду остановила себя; это был всего лишь фильм, выдумка, а она была уже почти взрослой.

7

В середине восьмидесятых участились набеги гопников из-за Муринского ручья. Судя по слухам, подобное происходило много где еще; гопники стали все чаще покидать места своего привычного обитания в Купчине, Колпине, Веселом Поселке и Стране дураков и начали появляться в тех районах, где много лет о них в основном лишь слышали. По вечерам гопники все чаще выходили на широкие проспекты, приставали к прохожим на автобусных остановках, на плохо освещенных боковых улицах и в темных дворах требовали денег, предлагали попрыгать; девицы так и вообще начали шарахаться от каждого куста и от каждой занятой скамейки, и не без причин. А когда гопнические компании стали внаглую выходить прямо к метро «Академическая», да еще и не очень поздно, вокруг начали все больше говорить о том, что ситуация становится невыносимой и что гопники оборзели вконец. Переломным стало изнасилование девочки из соседней школы; ее увезли в больницу; говорили, что чудом откачали. Никого из нападавших она не знала или не узнала, а может быть, просто боя-

лась. Менты, как всегда, походили с грозным видом, но было понятно, что заниматься этим они не собираются; то есть если бы кто к ним пришел и сам сказал, что вот ее изнасиловал и воспроизвел бы подробности, то его бы посадили, конечно, а просто так прочесывать окрестные районы с сомнительными шансами на успех ментам, скорее всего, не хотелось, да и такого количества людей у них, наверное, не было. Говорили, что кто-то из школьных родителей написал письмо в райком партии; с тем же результатом, разумеется. Но их квартал эта история всколыхнула.

С одиннадцати лет Митя и Леша ходили на ближайшую секцию дзюдо, куда Митю родители же и отправили. Ничего особенно опасного и уж тем более боевого там не было, в основном перехватывали и выворачивали руки, швыряли приятелей на маты, которыми был выстлан пол в спортивном зале, и тому подобное. Но реакцию это развивало, конечно, а когда участились набеги, то и уменьшало чувство беспомощности перед отдельными гопницкими группами, тем более что гопники были почти все прокуренные и упитые, в случае чего с дыхалки сбивались легко, так что если среагировать вовремя и рывком побежать, то они беспорядочно растягивались, и с каждым из них можно было выходить практически один на один. Хотя особых иллюзий по этому поводу у них не было; им быстро объяснили, что все эти «боевые искусства» были всемогущими только в воображении обывателей, даже подпольное карате. На практике же против толпы гопоты с ножами мог помочь в основном пулемет, но пулеметов у них не было. А еще, как выяснилось, у этого была и обратная сторона; друг друга дзюдоисты воспринимали как своего рода военнообязанных. Так что когда произошла эта страшная история с изнасилованием, Лешка просто пришел к Мите и сказал, что зайдет в шесть. Но и сам Митя не протестовал, наоборот; в этой ситуации продолжать делать вид, что их это не касается, казалось ему отвратительным. Да и унижительным тоже.

- Что-нибудь с собой взять? — спросил он Лешку, когда тот за ним зашел.
- Не. Бить мы сегодня никого не будем.
- А куда?
- Познакомишься.

8

Оказалось, что уже некоторое время Лешкины друзья собираются в гаражах поближе к железнодорожному полотну. Поскольку гопники почти никогда не приходили без оружия, то и они изготовили запасец: ножи, напильники, нунчаки, заточенные трубы; а в гаражах и на пустырях учились ими лучше пользоваться. Нунчаки Митя так и не полюбил, уж больно гопницким оружием они были; но уметь их отбивать было необходимо. А еще нунчаки были палкой о двух концах; при всей их опасности, если не испугаться и отбить, хоть той же трубой, а еще лучше перехватить, то дальше можно было бить практически в упор. Кроме того, гаражи имели еще одно несомненное достоинство. Если разрозненные группы гопников сюда все же забредали, то отлавливали и мочили уже гопоту, да так, чтобы мало не показалось. Так что постепенно на пустырях в районе железнодорожных путей гопники перестали появляться. Пили в гаражах, что попадалось. Те, кто помладше или послабее, часто пили «Солнцедар» или кагор, кто посильнее — только водяру; почему-то с тех пор, как Горбатый начал на водяру наезжать, ее стало сильно больше. Митю даже немного удивляло, где ее столько берут; все-таки несовершеннолетние как бы. Те же, у кого были родственники на Украине, приносили украинский самогон под названием «горилка». Некоторые пили с понижением градуса, для понта, сначала водяру, потом «Солнцедар», потом пивасика,

в том смысле, что ничего с ними не будет. Иногда ничего и не было; чаще ходили блевать в кусты за гаражами. И ерша, конечно, пили тоже; как же без него. Часто пили водку с пепси-колой, которую почему-то делали на заводе посреди Полюстровского парка. Работягам можно было дать на лапу, и через заводской забор они передавали пепси целыми ящиками.

К некоторому Митиному удивлению, в гаражах было относительно много девиц, которых здесь в глаза и за глаза звали телками; даже девиц из соседней школы. Телки пытались пить, как все, или чуть меньше, как получалось; а вот пьянели быстрее. Просили научить их пользоваться оружием; их учили, но не совсем всерьез. Хотя они думали, что всерьез; очень этим гордились; ходили с заточенными напильниками, как какие-нибудь валькирии из Кировского театра. Но и обжимались здешние телки тоже охотно, практически со всеми, даже с Митей, который особо и не знал, что с ними делать. От большинства из них несло перегаром, так что целоваться с ними было не очень приятно, но было нужно, иначе бы его застебали; тем более что в их с Арей продвинутой школе целоваться было особо не с кем или, по крайней мере, не очень реалистично. Но и в гаражах тоже, хотя по углам телки обжимались в открытую и даже с известным понтом, для большинства из них дальше этого дело не заходило. Те, кто постарше или кому не терпелось, выходили на улицу или шли в квартиры, если находились свободные; в квартирах не собирались, не пили, оружие не делали и уж тем более не хранили. Говорили, что со своими девками гопники трахаются на глазах у всех; так на то они и были гопниками, почти животными. Благодаря Лешке и знакомым дзюдоистам Митю приняли почти за своего, а вот он себя своим не чувствовал вовсе. А еще он постепенно начал сомневаться в том, что ершом и обжиманиями все не закончится, а ведь он был здесь не за этим.

Тем не менее после очередной стычки с гопниками все же забились на пустыре, который отделял их от новостроек за Муринским ручьем, и забились по-крупному. Митя думал, что заборзевшая гопота всерьез это не воспримет, и надеялся, что она отхватит вперед и с запасом; но они восприняли. Когда он увидел темную массу, которая перла на них в поздних сумерках с той стороны пустыря, в душе что-то екнуло. Когда-то дедушка говорил ему, что ничего не боятся только круглые дураки, и Митя повторил это самому себе, двинулся дальше. Довольно долго стояли друг напротив друга, осыпая оскорблениями, но все же не переходя к действиям; гопники грязно объясняли, как именно они собираются сокопупляться с их телками. Митя вспомнил поцелуи в гаражах, пусть даже слюнявые и пьяные, и его стала охватывать ярость. Ему было приятно, что в долгу перед гопотой они не остались; Паша, бывший у них как бы за главного, объяснил гопоте подробно и в деталях, куда и как они будут иметь их, а также их сестер, матерей, и саму гопоту. Дальше все происходило быстро и сумрачно. Почти в полной темноте две толпы, вооруженные ножами, напильниками, заточками, трубами, нунчаками и обычными палками, рванулись друг на друга, и все смешалось. Уже через несколько секунд Митя понял, как мало пользы было от четырех лет занятий дзюдо; так что он скорее бил во все стороны, стараясь не давать к себе подойти, нежели делал нечто особенно полезное для исхода свалки. Но все равно, кажется, к концу второй или третьей минуты ему от кого-то прилетело, и он вырубился. Потом увидел Лешку, бывшего его по морде.

— Угомонись, — сказал он Леше, — я в порядке.

Леша убежал назад, в сторону свалки. Совсем рядом были ментовские сирены и вспыхивали мигалки; было видно, что народ начинает беспорядочно разбегаться по пустырям. «Сейчас я всей этой мрази выдам», — подумал Митя и снова потерял сознание. Очнулся он в грязи; в глазах все расплывалось, голова болела. Мигалки все еще вспыхивали, было похоже, что менты еще кого-то вяжут. Митя встал, повалился сно-

ва, начал медленно отползать, подальше от мигалок. Как он добрался до дому, помнил смутно.

— Зацепился за что-то в темноте и навернулся в канаву, — сказал он родителям, — все же раскопано, как после ядерной войны.

У него диагностировали легкое сотрясение мозга, но класть в больницу не стали. Через неделю разрешили вставать с кровати.

— Ты бы со своей неповоротливостью, — сказала мама, — поменьше шлялся по вечерам. Говорят, неделю назад была ужасная драка между шпаной. Откуда только они берутся? Хотя понятно откуда. Полгорода уже сплошная лимита. А ленинградцам, как и раньше, жить негде.

К счастью, как оказалось, ментам все-таки кто-то стукнул, и они появились почти сразу, как только началась массовая драка. Так что раненых было много, а убитых не было совсем. Леша получил две резаные раны и лежал в отделении травматологии детской больницы Раухфуса, недалеко от площади Восстания. В первый же день, когда Мите разрешили встать, они с Арей поехали его навестить. Попросили у родителей денег, привезли ему два мешка сладостей и фруктов.

— Больно? — спросил Митя.

— А то.

— А ты?

— Фигня. Сотрясение.

— Я уж подумал, что ты дуба дал. Аж застремался.

Вышли на улицу Восстания, просторную, прямую, освещенную тем особым ленинградским архитектурным благородством, которое невозможно ни с чем перепутать.

— Это он тебя вытащил? — вдруг спросила Аря, как обычно без предисловий.

— Он.

— Значит, мы теперь оба навсегда его должники, — сказала она, подумав.

— Думаешь, я не знаю? Хотя ты-то здесь при чем.

Аря вскинулась, но промолчала.

Пашу, пару его приятелей и кого-то из замуринской гопоты вроде бы повязали. Но остальные ментам ничего не сказали; да и было понятно, что спрашивают больше для проформы. Гуляли, никого не трогали, привязалась шпана, нет, незнакомая, никогда раньше не видели, ни с кем из них конфликта вроде бы не было, завязалась драка, дальше помню смутно, потом все куда-то разбежались. Было ясно, что защиты от ментов все равно никакой, только затаскают. Но через некоторое время стало известно, что с гопниками достигли негласного соглашения. С этой стороны Муринского ручья они обещали больше не появляться, а если что было нужно, то поодиночке, без оружия и телок не трогать.

9

На этот раз их отправили в Москву надолго и уже без присмотра, точнее, почти без присмотра; родители, конечно, их проводили, тетя Лена и дядя Женя обещали встретить. Все вместе они съездили на Финбан и купили билеты.

— На деревню к бабушке, — хмыкнула мама, но папа не засмеялся, а только улыбнулся краем рта, как будто с усилием, и быстро отвернулся.

— Пора, — ответил он, чуть подумав, — пора и им взростеть.

В Москву обычно, хотя и не всегда ездили на проходящем из Хельсинки; он оставался сравнительно недалеко от дома, в Ручьях. Минусом было то, что проходил он поздно, около часа ночи, и пока они ждали поезда, Арина начинала, как папа это называл, хлопать глазами; на этот раз, не раздеваясь, только сбросив тапки, она свер-

нулась калачиком на диване в большой комнате, да так и уснула. Зато поездка на проходящем избавляла их от толкотни Московского вокзала, криков носильщиков с огромными железными телегами, потных и почему-то вечно опаздывающих, проталкивающих через толпу командировочных и мешочников. Да и в Москву хельсинкский поезд приходил не в рассветном холоде, а поздним утром; отмытая Москва светилась и встречала их теплом своего густого лета.

Родители положили их вещи под сиденье, коротко переговорили с проводницей, кажется, в третий раз повторили, что дверь купе нужно закрыть изнутри, что Митя должен спать на верхней полке, а Арина на нижней, и уже из полутьмы платформы еще раз им помахали. Ей показалось, что мама заметно тревожится. Соседей по купе у них не было; они заперли дверь и начали изучать финские каталоги, как обычно, обнаружившиеся в сеточках над полками. Но Арине быстро стало скучно: в журналах были в основном какие-то женщины, похожие на эстонских продавщиц из столовых с надписью «Сеекла», и реклама унитазов с ковриками из длинной шерсти неестественных цветов. Зато в самом купе, несмотря на ночной час, все еще чуть пахло разогретым пластиком коричневатых стен. Пока Митя рассматривал предполагаемых продавщиц, Арина быстро, едва ли не одним прыжком, забралась на верхнюю полку и начала раскатывать матрас.

— Ты куда? — возмущенно закричал Митя, с некоторым опозданием сообразив, что она не просто так решила попрыгать. Видимо, подействовал поздний час, хотя особой сообразительностью он никогда не отличался.

— Спать, — ответила она; главным сейчас было не позволить втянуть себя в спор, так что Арина почти мгновенно заправила простыню под матрас и взялась за наволочку и подушку.

— Тебе сказали спать внизу.

— Это тебе сказали спать наверху. Ну так и спи напротив.

— Это не наши места.

Она была довольна еще и тем, что ей удалось захватить место по ходу поезда.

— А кто будет спать на вещах?

— Дверь-то закрыта. Там еще одна щеколда. Можешь закрыть и ее.

Щеколду Митя закрыл, но с недовольным ворчанием остался спать внизу. А вот уснул он почти сразу. Арина же лежала на верхней полке и долго смотрела на проплывающие мимо окна железнодорожные столбы с тусклым желтым светом, на прерывающуюся стену придорожной зелени и дальние поселки. В ночной темноте деревни и городки казались густыми черными массивами, лишь случайно помеченными редкими огоньками. Поезд равномерно подрагивал, ровно и спокойно, лишь иногда более отчетливо вздрагивал на стрелках и снова успокаивался. Она вспомнила, как когда-то они раскладывали по квартире железную дорогу; на самом деле они и сейчас иногда это делали, вызывая отчетливое мамино раздражение, но все же теперь они собирали железную дорогу гораздо реже. Ночь была всюду, в темном купе и на дальних озерах, вспыхивающих скользящими серебряными отблесками, и даже из-за закрытого окна купе эта ночь казалась необычно теплой.

Проснулась Арина уже утром; несмотря на то, что было чуть позже семи, свет казался не утренним, а дневным, мимо окна проплывали дебаркадеры, стоящие поезда, товарняки и рифленые бетонные заборы. Тетя Лена и дядя Женя встретили их, как обещали, на Ленинградском вокзале, точнее, прямо на платформе, практически напротив окна их купе; было непонятно, как они заранее вычислили его так точно. Позвали носильщика, побросали вещи в багажник и сразу же тронулись; Арина помнила, что недалеко. Москва всегда немного удивляла ее сочетанием несочетаемого: старые дома, даже не просто старые, как в центре, а часто двухэтажные, совсем небольшие, чуть ли

не как Кикины палаты, а рядом с ними либо что-то такое явно советское, середины века, либо вообще кирпичное, по виду не так давно и построенное; все это было вперемишку и, похоже, никому не мешало. В Лопухинском Митя выскочил из машины и сразу же побежал наверх, даже не предложив дяде Жене помочь с вещами; он вообще любил Москву больше нее. Арине стало неловко. Так что помочь предложила она, но дядя Женя только приподнял голову над багажником, засмеялся и отмахнулся.

— Аренька, — сказала тетя Лена, — ну какие у вас вещи.

Бабушка встретила ее в дверях, а бабушка Ася в прихожей. Дед Илья обещал прийти к обеду, но, как выяснилось, собирался потом снова куда-то уехать. Мама им временами говорила, что Москва — и не город вовсе, больше «комплекс сросшихся деревень», превращенный большевиками в столицу взамен другой, настоящей, так и не сломленной, но слова — словами, а справедливости ради Арина вынуждена была признать, что приезжать в Москву было приятно. Было приятно, когда тебя обнимают и даже немного тискают, одновременно предлагают устроиться поудобнее, и покормить, и спрашивают обо все на свете; было приятно садиться за огромный стол у окон с тяжелыми шторами, вытягивать ноги, даже разваливаться на стуле, как будто сидишь на садовой скамейке. Но потом за все эти мысли ей стало немного стыдно перед самой собой, как если бы она неожиданно упала в собственных глазах; Арина выпрямила спину и подумала, что просто очень рада всех видеть: бабушку, и бабушку Асю, и дядю Женю, и тетю Лену; тетю Лену, наверное, почему-то даже в особенности, хотя как раз Полина мама прямой родственницей им не была, она была второй женой дяди Жени. Мама утверждала, что тетя Лена, наверное, втайне говорит о нем «жидовская морда», но Арина в это не верила. К этому моменту она уже знала, что не все, что говорит мама, следует понимать буквально.

Зазвенел звонок-гонг, но дед отпер дверь сам и сразу же вошел.

— Не приходите же без звонка, — сказал он, и было непонятно, говорит ли он всерьез или шутит. Арина подумала, что с тех пор, как дед гулял с ними по набережной, он изменился, кажется, постарел, а может быть, просто по дороге домой еще не успел сбросить с себя бремя рабочих дел. Но и про себя она думала нечто похожее: уже некоторое время ей казалось, что она очень быстро и необратимо становится взрослой.

Почти целую неделю они прожили у тети Лены, дяди Жени и Поли, где-то в новостройках, у метро со странным названием «Аэропорт». Мите отвели маленькую комнату, которая обычно служила дяде Жене кабинетом, а вот Арину, к ее изрядному недовольству, поселили в одну комнату с Полей. Ей казалось, что теперь они говорят на разных языках. Как-то втроем они шли по улице и из одного из открытых окон услышали глубокий и прекрасный голос Далиды. Арина увидела, как Митя поднял голову и поискал глазами окно.

— Не понимаю, — сказала Поля, почему-то обращаясь только к Мите, — почему? Она же была одновременно столь многим. Была одарена почти что во всем. Кажется, ей удавалось практически все, за что она ни бралась. Перед нею был открыт весь мир. Не понимаю.

Митя кивнул. Арина растерянно посмотрела на Полю.

— Она недавно покончила с собой, — объяснил он Арине.

— Это как-нибудь объяснили?

— Она оставила записку, — добавила Поля. — *La vie m'est insupportable. Pardon-moi.*

Митя снова кивнул.

Весь этот разговор показался Арине пустым, малопонятным и на удивление чужим. Несмотря на то, что она ощущала себя неожиданно взрослой, именно в этот приезд несколько лет, разделявших их с Полей, показались ей настоящей пропастью. Несмотря на маленькую грудь, гораздо меньше, чем у Арины, как ей казалось, Поля выгля-

дела сформировавшейся женщиной. Это заставляло Арину снова ощущать себя почти ребенком, и ей это не нравилось. По утрам по их спальне Поля ходила в одних белых хлопчатобумажных трусах, могла так подойти и к окну. А еще она над всем смеялась: и над хорошим, и над плохим, даже над чужим горем; Арину это отталкивало, но она сдерживалась. Как-то утром Митя постучал к ним в комнату, и Поля сразу же откликнулась.

— Что это еще за церемонии? Заходи, конечно.

Только потом, когда Митя уже стоял на пороге, Поля с напускным удивлением посмотрела на себя, демонстративно смутилась и добавила, что забыла, что еще не одета. Попросила подождать пару минут в большой комнате. Митя неловко опустил глаза, быстро развернулся и вышел. Но Арина успела увидеть, как вспыхнули его глаза, каким-то совсем незнакомым именно в нем, чужим и отталкивающим блеском, чем-то похожим на то выражение, с которым одноклассники иногда смотрели на ее грудь, и с этого утра она стала относиться к Поле еще хуже, на самом деле с трудом ее выносила. А ходить по дому полуодетой Поля временами продолжала, хотя вроде бы в рамках приличий. Арине казалось, что краем глаза Поля наблюдает за Митиной реакцией, и это выводило ее из себя еще больше. Так что она была очень рада, когда они переехали назад к бабушке и дедушке, в ту все еще странно малорослую, но теплую и почти родную для нее Москву.

10

— Давайте посмотрим, что у них там происходит, — как-то сказал дед, включая телевизор, но сказал это так, как иногда и вообще с ними разговаривал, не спрашивая, а просто ставя в известность. Арина устроилась на диване рядом с бабушкой.

— Ты был в Женеве? — спросила она.

Дед покачал головой.

— И не уверен, что там есть что делать.

Тем временем на экране широко улыбался их молодой генеральный секретарь; вокруг улыбались тоже, одобрительно кивали. Показывали много иностранцев, частью известных и примелькавшихся по новостным выпускам, частью каких-то незнакомых. Все были в костюмах. Арине показалось, что Мите стало скучно; потом он тихо поднялся и ушел к себе. На экране Горбачев много и горячо говорил; говорил о лучшем будущем для всех, об общечеловеческом, о мире без страха, о необходимости построить новый европейский дом, который станет для них общим. Дед тяжело и внимательно смотрел на экран, чуть опустив челюсть, сжав пальцы рук в замок.

— Это хорошо? — спросила его Аря.

— Конечно, — ответил дед. — Как же это может быть плохо?

— Война — это очень страшно, — добавила бабушка. — Ты даже не представляешь, насколько страшно. Лучший дом для всех — что может быть лучше.

Арина огляделась, посмотрела на них. Бабушка Ася поймала ее взгляд, улыбнулась и согласно кивнула.

Дед расцепил кисти рук, внимательно посмотрел на Арину.

— Страна, которая не меняется, — сказал он, — обречена на гибель. Мы все меняемся. И должны меняться. Так устроен мир.

На секунду Арине показалось, что он говорит с ней и одновременно с кем-то еще. Но это ощущение оказалось ошибочным и исчезло почти мгновенно.

— Иногда, — продолжил дед, — ради общих целей приходится жертвовать собственной выгодой, даже частью собственных интересов. Но лучший мир стоит того. Если получится, это будет мир без страха, без непосильных военных расходов. Понимаешь,

это как в шахматы. Ты жертвуешь коня, но выигрываешь партию. Только в данном случае партию выигрываешь не только ты, но и все.

— А такое бывает, — спросила Арина, — чтобы выиграли все и никто не проиграл?

— Бывает, наверное, — ответил дед, а потом поправился: — Конечно, бывает. Это и называется мир.

Арина задумалась.

— А ты тоже воевал? — спросила она деда. — Дедушка Натан нам почти ничего не рассказывает. Бабушка больше. Про блокаду.

Дед кивнул.

— Воевал, — ответил он, — только что там рассказывать. Воевали. Победили.

Он подошел к телевизору, сделал чуть погромче. На экране уже горячо пожимали руки, чуть ли не обнимались. «Мир», — подумала Арина. Все ее детство это слово проносили так часто, но всегда в школе, по телевизору, в песнях, что оно давно потеряло всякий смысл. А сейчас ей пришло в голову, что, наверное, как-то так мир и выглядит; эта мысль ее удивила. Слово стало выпуклым. «Мир», — одними губами удивленно повторила она. Арина неожиданно обнаружила, что за окном уже стало темно, а сама она почти засыпает.

— Я пойду, — сказала она.

— Спокойной ночи, — ответил дедушка. Ей снова показалось, что он думает о чем-то другом, тяжело и напряженно.

Бабушка поднялась с дивана и взяла ее за руку.

— Я сама, — удивленно возразила Арина.

— Пойдем, пойдем.

Вопреки обыкновению он рано лег спать.

— Что-то случилось? — обеспокоенно спросила его Аня.

— Нет. Просто устал. Ты же понимаешь, все это создает очень много лишней работы. Будем надеяться, что вправду к лучшему. Да и этот болтун все-таки не один решает. В случае чего его притормозят.

— Ты плохо себя чувствуешь?

— Не волнуйся, — ответил Илья. — Все правда нормально. Почитай еще.

Аня выключила свет, но он все равно не уснул, долго ворочался, кровать казалась жесткой и неудобной. «Изнеженные мы стали», — подумал он, но потом все же уснул. Сон, поначалу размытый, постепенно начал приобретать более отчетливые контуры. Ему начало сниться густое и синее море, и, погружаясь в сон, он еще успел подумать, что это, наверное, именно то никогда им не виденное море, о возвращении к которому молились его деды, а иногда почему-то даже его отец. Но потом Илья понял, что море было другим; во сне он не мог объяснить, почему именно, но твердо знал, что оно другое. На берегу возились какие-то люди с тросами, и их цепочка уходила все дальше в море; они стояли по щиколотку, по колено, по плечи в воде, но и медленно двигались в сторону суши. Вслед за ними из-под воды выползло огромное деревянное сооружение, похожее на крайне топорно сделанную лошадь. Ее голова поднялась над водой, и он с удивлением понял, что она действительно была головой лошади. Вслед за нею из воды поднялся тяжелый конский круп; потом стали отчетливо видны копыта. Две цепочки уцепившихся за канаты маленьких людей тащили этого нелепого гигантского коня. Конь медленно поднимался над водой, постепенно обнажая свои чудовищные очертания; неожиданно Илье стало страшно. Он вздрогнул и проснулся.

Илья понял, что мешало ему все эти дни, все эти недели, как песчинка в глазу, которую и не увидеть, и не коснуться, а без зеркала и платка толком и не избавиться. «Их обманут, — подумал он, — их уже обманывают. Не только этого улыбающегося нарцисса. Все мы стали слишком изнеженными». От своего бессилия перед изощренным

чужим коварством и гигантским колесом истории ему стало так душно и горько, как будто приснившееся ему будущее уже наступило. Он встал, подошел к окну, отдернул штору. Городское небо было темным и бессветным. «В Валентиновку бы сейчас, — тоскливо подумал он, — там хотя бы звезды». Проснулась Аня.

— Ты не спишь? — еще более обеспокоенным тоном спросила она.

— Сплю. Всякая ерунда приснилась.

— Опять про войну?

— Нет. Просто ерунда. А почему про войну?

— Тебе теперь стала часто сниться война.

— Старую, наверное, — ответил Илья, попытавшись выразить улыбку голосом; он понимал, что на фоне чуть светящегося прямоугольника окна его лица она не видит. Вернулся в постель.

Как это ни странно, на этот раз он быстро уснул. Но ему действительно приснилась война. Это было восемнадцатого октября, в то утро его, тогда еще лейтенанта, прикомандировали к какому-то полковнику, который должен был отвезти в Москву документы. Почему-то отвезти их надо было кому-то из аппарата правительства, не по военной линии.

— Если меня убьют, — сказал полковник, — папку вы все равно довезете. Как вы это сделаете, меня не интересует. Вы все поняли?

Он фронта до Москвы ехать было всего ничего; так что если что и мешало, то в основном тыловые проверки, хотя какой уж тут был тыл. Как обычно, все грохотало. На дорогах был хаос. Чуть за полдень они были в Москве; Москва казалась полупустой, только что не брошенной. Как оказалось, правительства в Москве уже не было; почти весь аппарат правительства эвакуировали в Куйбышев. Так что и им тоже пришлось ехать в Куйбышев. Они ехали по Москве, а воздухе висела черная гарь; в бесчисленных каминах, печках и буржуйках жгли документы, а пепел вытряхивали прямо в окна. Не по сезону холодный ветер разносил черный пепел вдоль улиц, смешивая его со снегом. В душе выло, тяжело и горько. Несокрушимая машина вермахта должна была вступить в город со дня на день, может быть, завтра, хотя, может, и через три дня. Илья продолжал спать, а его сон заносило грязным снегом, наполненным черной бумажной гарью; он спал и не мог проснуться.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

Скажи мне, где все прошедшие годы
И кто расколол копыто дьявола,
Научи меня слышать пение русалок
Или избегать жалащую зависть.

Донн

1

Встретились случайно, но, встретившись, обнаружили, что оба никуда не торопятся, так что зашли в ближайшую пирожковую, почти напротив метро.

— Я очень рад, — сказал Андрей, когда они устроились за столиком, поставив перед собой две чашки «напитка кофейного» и тарелку с пирожками, — что на этот раз ты вернулся насовсем. Петр Сергеевич за тебя очень волновался.

Сергей кивнул. Было видно, что он рад встрече, но продолжает о чем-то думать, как будто он здесь и не здесь одновременно.

- Да.
- И для Кати очень важно, что родители будут всегда рядом.
- И это правда. То, что она почти постоянно была без нас, меня очень мучило. Отец от нее не отходил, но все равно ребенку нужны родители.
- А вы никогда не думали попытаться забрать ее с собой?
- Сергей изумленно на него посмотрел.
- Андрей, ты это серьезно?
- Прости.
- Они отхлебнули по паре глотков кофейного напитка, еще немного посидели молча.
- Но я вижу, что ты не рад?
- Чему ж радоваться, собираясь совершить подлый поступок. Пусть не лично подлый, но коллективно — да. Мы же обещали их защищать, там миллионы людей, которые с нами так или иначе связаны, женщины, уже почувствовавшие себя людьми, дети, научившиеся читать, а теперь мы их всех предали и собираемся бросить на растерзание исламистам. Странная причина для радости.
- А наших мальчиков тебе не жалко?
- Сергей снова поднял на него глаза, теперь уже без всякой симпатии.
- Андрей, — ответил он, стараясь оставаться спокойным, — ты там не был. А я был. И, как ты знаешь, долго. Пусть большую часть времени и на нашей территории. Мне каждого из них жалко. Поверь. А я их видел. И мертвыми тоже. И искалеченными. И сошедшими с ума.
- Но?
- Ты правильно продолжаешь. Но мы с тобой историки. А я еще и востоковед. Я же к вам тогда скорее случайно прибил. И мы оба знаем, что если закрыть калитку и сделать вид, что проблему можно оставить за околицей, то она скоро придет и постучится в дверь. Или в окно. Это уж как карта ляжет.
- Или исчезнет сама собой, — не согласился Андрей. — Как историки мы с тобой знаем, что такое тоже возможно. И ничуть не менее вероятно. И тех и других примеров в истории множество. Тем более что воевала там с вами не страна и даже не единая организация, а довольно бесформенное сборище с очень разными интересами. Вы что, еще восемь лет хотите с ними воевать?
- Давай сменим тему.
- Прости, — сказал Андрей.
- Они снова помолчали.
- Отец сказал, что вы продолжаете копать, — начал Сергей в более примирительном тоне.
- Есть такое дело, — Андрей улыбнулся.
- Это хорошо. Все народы держатся за свои камни, это только мы как начали топтать свое прошлое, так до сих пор не можем остановиться. А без прошлого и воевать будет не за что.
- Нет, нет, — ответил Андрей, — это совсем о другом. Ты не понимаешь.
- Возможно.
- Андрей замаялся, он не знал, как это объяснить.
- Это как раз о том, чтобы не воевать, — сказал он. — Понимаешь, мы смотрим на икону и видим тот мир, в котором люди уже не мучают друг друга. И он светлый. Ты еще не забыл, что те древние иконы на самом деле очень светлые?
- Сергей кивнул.
- Они часто почти солнечные, — продолжил Андрей. — Это ведь радость от того, что другой мир есть, что он возможен и здесь, что к нему надо просто протянуть ру-

ку. Как светящийся небесный город, который уже рядом. Где мальчиков не будут посылать умирать, и они не будут сходить с ума.

— Странный мы с тобой ведем разговор. Не знаю, насколько ты прав насчет икон. Мне кажется, не прав. В древности с иконами и в бой ходили. Но ведь есть же и здравый смысл. Пока вы будете созерцать ваш счастливый небесный город, придет тот, кто злее и сильнее, убьет твоих детей и Иру, ограбит и сожжет дом, а тебя самого угонит в рабство для более эффективного производства прибавочной стоимости. Я тебе уже сказал; к сожалению, войну я видел.

Разговор двигался по кругу, и Андрей не знал, как его из этого круга вывести. Это было не просто его работой, о которой хотелось рассказать; от Натана Семеновича он знал, что сын Петра Сергеевича вернулся подавленным и злым, и Андрею хотелось помочь ему увидеть мир с другой стороны.

— Ты читал книгу о русской иконе князя Трубецкого? — спросил он.

Сергей покачал головой.

— Я как-то все больше про Тамерлана. В широком смысле.

— Трубецкой писал во время Первой мировой войны. Его очерки об иконе начинаются с того, что в природе чья челюсть больше, а зубы острее, тот другого и съел. И что человечество тоже так может жить, да почти всю свою историю и жило. Тот народ, чье клыки больше, съедал соседей. Во время мировой войны такой взгляд на вещи стал особенно видимым, а словесные украшения исчезли.

— Что же, — ответил Сергей, — звучит, может быть, не очень привлекательно, но разумно. И достоверно.

— Но не для Трубецкого. Для него русская икона как раз и воплощает возможность отрицания этого животного состояния, возможность подняться над всевластием жестокости и животной силы. Собственно, для него это и есть сама возможность быть человеком.

— Допустим, — ответил Сергей. — Но я тебе уже сказал, что я думаю о таких теориях. В качестве национальной идеи они самоубийственны.

— Трубецкой не говорит о национальной идее. Он как раз и пишет о том другом, что русская культура воплощает для мира. Вопреки всему зверству истории. Как раз национальная идея у каждого своя, и одна чудовищнее другой.

Сергей поморщился.

— По этой же причине, — продолжил Андрей, — Трубецкой был против окладов. Для него оклад — это не возможность сохранить, а возможность не видеть. Он считал их скрытой формой иконоборчества.

— А мне так кажется, что это скорее проблема самого Трубецкого. И вообще интеллигенции в России. Что она не чувствует и не понимает народ. И народную религиозность не понимает тоже.

— Трубецкой был князем. А это все же не интеллигенция в тогдашнем понимании. Он, кстати, был против храма Христа Спасителя. Считал его китчем. Еще одним способом не видеть. Воплощением безмыслия. Называл его самоваром всея Москвы.

Сергей снова поморщился.

— Слушай, — резким движением Андрей поднял с пола дипломат, положил его на стол и начал в нем рыться, — у меня же эта книга с собой. Я ее перечитывал и который день про нее думаю.

Он протянул Сергею ротاپринтное издание Трубецкого; тот покрутил его в руках, полистал, прочитал несколько абзацев, выбранных явно случайным образом. Андрей продолжал внимательно на него смотреть.

— Ты знаешь, Андрей, — сказал Сергей, заложив самодельное издание указательным пальцем, — хвалить русскую икону стало теперь делом легким, как-то подозри-

тельно легким. Даже немцы теперь расхваливают наши иконы на все лады, хотя сорок лет назад жгли их в печах, а в церквях держали лошадей. Теперь уже и комсомольцы стали рыскать по деревням; где икону украдут, а где купят за бесценок у умирающей бабки. Хвалить-то легко, а знаем ли мы достаточно для того, чтобы их хвалить? Я не про академическое знание. Про твоего Трубецкого ты, может быть, и прав. Не мне судить. Но есть ли у вас та вера, которая нужна, чтобы иконы понимать?

Он положил книгу на стол рядом с кофейным напитком. Они были почти ровесниками, но теперь Андрей казался значительно моложе, едва ли не на полпоколения, и был чуть выше. А еще Андрей начал сутулиться, все больше говорил один, часто с выраженным отсутствием такта и несколько неприятно всматривался в собеседника своими сияющими глазами.

— Ты, Сережа, конечно же, прав, — ответил он, — но прав ты как-то неправильно, так что и соглашаться с тобой не хочется. И смешал ты совсем разные вещи. Немцы и людей в печах сжигали; вот нас сжигали; так что же теперь себе не верить? И архаровцы ваши комсомольские — разве это аргумент? Они же за деньгами по деревням рыщут. И не только в этом дело. У той же умирающей бабки если они икону не купят, хоть, правда, за бесценок, сгниет эта икона после ее смерти, сгниет вместе с домом в разоренной деревне. Если бы ваши власти иконы сами собирали, тогда было бы другое дело. Мы тут мечемся, восстанавливаем, что можем, но это только капля в море. Все же это понимают.

— Наши власти, Андрей, — поправил его Сергей с легкой и недоброй улыбкой и повторил: — Наши власти.

— Это ваша власть, — горячился Андрей, чувствуя себя все более привлекательным в своей горячности, а для Сергея становясь все более отталкивающим в своем раздражении, — хотя ты же ее только что сам ругал. А по мне так пропади она пропадом. Да и что это за страна такая, где подобная власть действует безнаказанно? Разве не она эти деревни разорила? Не она ли их голодом морила? Не она ли сыновей этой бабки посылала на танки с одной винтовкой, так что эта бабка теперь умирает одна в пустом доме?

— Ну, — ответил Сергей, — если бы эти мальчики в тех полях не остались, мы бы с тобой, Андрей, здесь, вероятно, не сидели.

— А к чему они вернулись? — продолжал настаивать Андрей с еще большей убежденностью. — Кору есть? Хлебные колоски собирать? От одного людоеда к другому? Гитлер хотя бы убивал чужих, а Сталин уничтожал всех без разбора.

Сергей помрачнел, и его лицо как-то неприятно наполнилось морщинами.

— Продолжение этих мыслей я знаю, — ответил он резко и неприязненно. — Только ты, Андрей, ни Гитлеру, ни Сталину не свой; так что никакого бы пива тебе сейчас не пить. Ни любимого баварского, ни ненавистного новгородского. И ничего бы тебе не пить вообще. Да и нам бы всем было не до пива.

— Ты мне моей национальностью не тыкай, — сорвавшись, закричал Андрей, — мы с тобой уже это проходили. То, что я об этом не вспоминаю, не значит, что я все забыл. Хочешь этот режим оправдывать — милости просим, только мою национальность, о которой я ничего током не знаю и знать не обязан, в эти твои рассуждения, пожалуйста, не впутывай.

— Дело не в национальности, — ответил Сергей спокойно и зло, почти не повышая голоса, — а в том, что вы решили, что у вас есть право определять судьбу России. И говорить от ее имени. А она была за сотни лет до вас, будет и после вас. И никто вам такого права не давал. Вон ты уже о церковных окладах рассуждаешь. Да если бы только это. Сначала вы храм Христа Спасителя взорвали, а сейчас ты уже князя этого своего с его дурацкими теориями приплел, чтобы доказать, что и не нужен был храм русскому народу. Русский народ только тебя забыл спросить.

Андрей встал, забрал книгу, положил ее в дипломат, со звоном закрыл замки и вышел, не прощаясь.

2

Этот разговор оставил чрезвычайно неприятное впечатление, неприятное настолько, что Андрей уговорил Валеру сходить на митинг общества «Память» в садике около Академии художеств. Поначалу Валера не мог понять, зачем Андрею это потребовалось, но потом все же согласился, возможно, согласился просто по дружбе, так и не понимая, для какой цели они это делают. Месяц за месяцем об обществе «Память» и их сборищах говорили и писали все больше, даже показывали по телевизору, так что Андрей ожидал увидеть огромную толпу. Но толпа оказалась относительно скромной, хоть и малопривлекательной, да и состоящей в основном из людей очень немолодых, а по большей части еще и несколько потрепанных. На них с Валерой практически не обратили внимания. Выступали долго, несмотря на плохую погоду; некоторые из выступавших ораторствовали с известным исступлением. Ораторы менялись, говорили о разном: про разрушение города, про упадок деревни, про заброшенные церкви и даже про экологию. И все же по большей части говорили то, что за это время в разных контекстах Андрей и так уже успел послушаться. Говорили о том, что Россию евреи продали (обычно германскому генеральному штабу, но в версиях были расхождения) и погубили, что евреи убили лучшую часть нации (словом «генофонд» теперь широко пользовались и патриоты, и либералы), создали и возглавляли концлагеря, взрывали церкви и, особенно, храм Христа Спасителя. Было в этом что-то клоунское и даже печальное, в прессе и по телевизору «памятники» казались значительно более пугающими.

Никаких конкретных призывов к действию они не услышали, не услышали даже ритуальных требований «убираться в свою Израиловку».

Через час-полтора Валера пожал плечами и посмотрел на Андрея.

— Тебе еще не надоело? — спросил он.

— Не знаю.

— Очень опасными они не выглядят.

— Не выглядят, — согласился Андрей, — Но и ничего хорошего в этом нет.

Валера снова пожал плечами.

— Мало ли сумасшедших. Да и выглядят они скорее несчастными.

— Как ты понимаешь, мне трудно им сочувствовать.

— Мне тоже, — ответил Валера.

«А все-таки в этом ему меня не понять», — грустно подумал Андрей. Начало накрапывать.

— Ладно, пойдем, — сказал он.

— Ну как? Ты убедился, что все это ерунда?

Теперь уже Андрей пожал плечами. Он был почти готов с Валерой согласиться, но вспомнил исступленное лицо сына Петра Сергеевича. Сборище «памятников» его не испугало и даже не особенно взволновало, хотя назвать все это приятным было сложно, а вот от воспоминаний о разговоре с Сергеем отделаться было труднее. Это не было обычным антисемитизмом. Андрею казалось, что в воздухе повисло нечто новое, нечто такое, говорить о чем ему не хотелось; и мысли об этом он старательно прогонял.

3

Приблизительно в тот же период Митя начал чаще встречать внучку Петра Сергеевича, Катю, и видеть ее не только дома у бабушки. Она так долго росла практически

без родителей, что, как Митя понял из случайно услышанного, чуть ли не подслушанного разговора между мамой и бабушкой, после возвращения ее родителей отношения складывались не вполне гладко. Но внешне она оставалась все такой же непроницаемой, самой безмятежностью, почти как тогда в филармонии, хотя, конечно же, без банта, как когда-то, когда он впервые увидел ее в гостях у бабушки, и только иногда в уголках ее глаз вспыхивала глубоко спрятанная грусть. В едва ли не первую их «самостоятельную» встречу ранней осенью Митя увидел ее случайно; Катя шла через Михайловский сад, кажется, пересекала его по диагонали, не быстро и не медленно, в каком-то своем особом темпе, который впоследствии только с ее шагом для Мити и связывался. Митя подумал, что, наверное, она была на работе у Петра Сергеевича, а потом мысленно добавил, что, наверное, там ей теперь лучше, чем дома.

Было уже довольно прохладно, но Катя шла с голой головой, как при такой температуре обычно ходили только иностранки, хоть и набросив на плечи и шею шарф крупной вязки. Ее распущенные светлые волосы чуть колебались на ветру, а сосредоточенный шаг придавал этому воздушному скольжению спокойную равномерность полета. На секунду Митя застыл, поразившись даже не ей, а, скорее, самому себе, тому, как иначе он неожиданно ее увидел. «Она изменилась, — подумал он, — она очень изменилась». Но потом добавил: «Она не изменилась совсем». А Катя не заметила его вовсе. Ему было неловко к ней подходить, и он остановился у пруда. По медленно темнеющей осенней воде дети пускали кораблики, сделанные из пенопласта с воткнутыми в него мачтами веточек и парусами из тетрадных листков. На одном кораблике на ветру раскачивался чуть пожухший лист. «Это тоже парус, — констатировал для себя Митя, — парус». Он был зачарован этим случайно встреченным видением, но сквозь зачарованность проступала необъяснимая тревога.

Митя продолжал рассматривать тени деревьев, медленно раскачивающиеся в воде пруда. Постепенно Катя начала удаляться, все больше растворяясь среди дальних стволов. Сзади и по левую руку их сопровождал обратный, непарадный фасад Русского музея; все еще высокое солнце отражалось на его особой и всегда узнаваемой желтизне. Это было одним из тех редких мгновений ленинградской осени, когда счастье и грусть сливаются воедино, а тропинку между ними уже невозможно не только нащупать, но даже представить. Неожиданно и вроде бы без всякой внешней причины Митя опомнился и быстрым шагом отправился вслед за ней, надеясь Катю немного упредить и оказаться одновременно с ней поближе к противоположному концу сада, пытаясь одновременно и удерживать ее в поле зрения, и не устраивать видимой погони, он проходил через газоны и лужайки, через желтый свет прекрасного осеннего солнца. А Катя шла, так ничего и не замечая; вероятно, думая о чем-то своем. Остановилась; взглянула на дорожку у себя под ногами. Носком сапога подбросила небольшой серый камешек; камешек чуть взлетел и упал обратно на гравий. Она ударила камешек еще раз, вероятно, ударила сильнее, и он пролетел чуть дальше, почти параллельно дорожке. Катя с интересом посмотрела на него, снова выпрямилась и пошла дальше. Подойдя поближе, на расстояние приблизительно в тридцать метров, Митя ее окликнул, все еще с газона, чуть разбухшего от осенних дождей.

— Катя, — закричал он, — это ты?

Она удивленно на него оглянулась.

— Привет.

Митя не знал, как следует правильно продолжить.

— Что ты здесь делаешь?

Катя посмотрела на него еще более удивленно.

— У меня курсы по истории искусства. А ты?

— Да так, шатаюсь, — ответил Митя. Он и вправду шатался. Это был один из тех дней, когда он действительно бесцельно шатался по городу. Если уж быть совсем правдивым, выходя из дома или не возвращаясь из школы домой, он придумывал для себя какую-нибудь цель, но безотносительно к тому, удавалось ли ему эту цель достичь, довольно быстро даже эти изначально смутные намерения растворялись в счастливой бесцельности хождения по городу. Митя подошел к ней поближе. Заметил, что каждый шаг дается ему с неожиданным трудом, столь резко контрастирующим с той легкостью, с которой он мог часами, не уставая, ходить по городу.

— И как курсы? — снова спросил он. — Интересно?

— Очень.

Митя задумался.

— Может, мне тоже на них пойти? — наконец сказал он, скорее утверждая, чем спрашивая.

— Я не думаю, что туда можно поступить в середине года, — ответила Катя. — Да я и не первый год на них хожу. В этом есть известная последовательность.

Но Митя попросил дедушку, попросил очень («С каких это пор тебе хочется ходить в кружки? — изумленно отреагировал дед. — Девятый класс — это не поздновато?»), дед попросил Петра Сергеевича, тот — кого-то из своих коллег по Русскому музею, и Митю взяли.

— Будешь передо мной отчитываться, — объявил ему дед довольно решительно, — в том числе и за прогулы. Книги в твоём распоряжении. Так что берись восполнять то, что они давно уже знают. А будешь там говорить глупости и позорить Петра и меня, отдам тебя на съедение твоей маме.

«Н-да, — подумал Митя. — Похоже, с годами их отношения совсем испортились».

А вот того, что он начнет говорить глупости, Митя не боялся. Постепенно, хотя и неохотно, он смирился с мыслью, что у Ари абсолютный слух, а ему на ухо наступил если не слон, то, вероятно, все же нечто большое и неповоротливое, вроде КАМАЗа. Кое-как играть он умел, а вот когда пытался хоть что-то напеть, то в основном слышал, как фальшивит. Он был готов смириться и с тем, что Аря способна воспринимать мир на основе обоняния в той степени, которую ему, наверное, никогда и ни при каких усилиях достичь будет не дано. Она с легкостью чувствовала не только запах ранней весны, чуть подтаявшего снега, тины или недавно прошедшего грибного дождя, но и те запахи, заметить которые было для него задачей почти непосильной, и даже те, о существовании которых он вообще не имел никакого представления. Но одно дело звуки и запахи, а другое цвета. Митя был уверен, что способен улавливать мельчайшие оттенки весеннего неба и опадающей листвы, зацветающей сирени и поляны иван-чая, расходящихся лесных дорожек и бликов на поверхности остывающего кофе. Кроме того, он много что знал и о собственно технической стороне живописи — от аллегорической иконографии, поднимающейся над миром, до чистого упоения цветом в абстрактном экспрессионизме, от все еще немного неловких мазков крепостных портретистов до напряженного взглядывания в запутанные оттенки души на картинах начала века, от мягкой русской природы, кажущейся отражением самой бесконечности, до неровного биения города, в котором человеческая душа встречает и свое ускользающее предназначение, и свое одиночество, и свой ужас.

В кружке же, или, как Катя его называла, «на курсах», перед Митей приоткрылось еще одно измерение цвета и формы. Вся их тысячелетняя история, вся пульсация начинающегося от их с Катей ног и уходящего в прошлое времени, история захватывающая и чудовищная, жестокая и благородная, ясная и туманная, так сложно определяемая, изменчивая и на удивление многообразная, подступала к ним, но подступала не фактичностью отдельных событий, а самой глубиной скрытой за картинами жизни, приот-

крывалась перед ними на досках и на холстах, привлекала взгляд и одновременно представляла непреодолимую преграду чуждости ушедшего времени. Неожиданно для себя Митя впервые понял, чем же на самом деле занимается его папа, кроме того, что регулярно отсутствует дома и где-то что-то такое не очень понятное раскапывает. Это понимание показалось Мите очень важным. Он рассказал об этом Кате, но она только улыбнулась. Такое происходило часто; Мите хотелось, чтобы она отвечала, а она внимательно на него смотрела, слушала, было видно, что она следит за каждым сказанным словом, и тогда, когда казалось, что теперь настала ее очередь говорить, молча улыбалась. Тогда Митя рассказал обо всем этом деду, даже немножко пожаловался на Катину молчаливость.

— Конечно же, ты внук историка, — сказал дед и тоже улыбнулся, — но ты не должен забывать и о том, что не преходит.

4

Как-то дед спросил про прогулы. Но, к некоторому удивлению деда, прогулов не было, ни одного. Митя пришел даже тогда, когда простудился, и у него была официальная справка о том, что в школу можно не ходить; в школу он и не пошел. А в Русский музей пошел. Он явился красный, как помидор, но узнав, что у него температура за тридцать восемь, его выставили домой.

— Тебя проводить? — спросила Катя.

— Еще чего, — буркнул он довольно хмуро. Во-первых, уходить ему не хотелось; во-вторых, чувствовал он себя так себе.

Митя прошел мимо гардеробов, через небольшой холл с низким потолком, вышел из предназначенного для посетителей Русского музея правого бокового входа, пересек площадь, как обычно переглянувшись с молодым Пушкиным, и недовольно побрел в сторону метро «Гостиный двор»; до «Академической» надо было еще пересаживаться. Катя позвонила поближе к вечеру.

— Ну как?

— Как что? — спросил Митя.

Катя замаялась. Даже спросить, как он себя чувствует, она толком не умела. Митя почувствовал легкое злорадство. «Это тебе не про картины рассуждать», — подумал он. Хотя и благодарность, конечно; все равно было приятно.

— Надо срочно очухиваться, — объявил он.

— Хорошая идея.

— Мне тут сказали, — продолжил Митя, — что неформалы будут разбирать дом Пушкина на Мойке. Пойдешь?

— А что с ним? — спросила Катя.

— С Пушкиным? Умер. Точнее, застрелили.

— Прекрати. С домом.

— Гадючник. И свалка. Бардак в стране.

Катя задумалась.

— Ты знаешь, — сказала она, — я с неформалами не очень. Точнее, вообще никогда не общалась. Даже когда они сидят в переходах, они такие чужие. Наверное, я им не понравлюсь.

— Понравишься, — с уверенностью ответил Митя. — Я вас познакомлю. У меня приятель туда идет.

— Но если я буду там совсем чужой, ты не обидишься, если я уйду?

— Нет, что ты, — ему даже стало неловко за нее. — Хотя на самом деле ты не можешь не понравиться.

Сказал и осекся: решил эту тему не развивать, а потом и вообще разговор свернул. Сам Митя неформалов знал плохо. Точнее, знал одного, который ему про планируемую расчистку дома на Мойке и рассказал. Это был его сосед по двору, из соседней парадной. У соседа было множество фенечек на обоих запястьях. Два-три раза в год Митя перекидывался с ним несколькими предложениями.

Так что все это получилось довольно случайно. Но повесив телефонную трубку, Митя понял, что впервые Катя согласилась с ним, именно с ним, куда бы то ни было пойти. Конечно, он пригласил ее не в театр, а на расчистку территории от строительного мусора, но он был уверен, что пойти с ним в театр она бы и не согласилась. Про ее жизнь Митя знал мало, о себе говорить Катя не любила, но, по крайней мере, по поводу приглашений в театр, он был уверен, что такого рода приглашения она получает, как минимум, еженедельно, не говоря уж о разговорах значительно менее завуалированного толка. Так что больше всего Митя боялся, что при входе их встретит удивленный милиционер и скажет им: «Да что вы, ребята, охренели, это же музей Пушкина», и будет прав. Но, как это ни странно, территорию дома на Мойке действительно расчищали, и, как выяснилось, неформалы помогали в этом уже не в первый раз. Почему это не было сделано организованно или в рамках реставрации, так и осталось для Мити загадкой, но наступали времена, когда счастливого и необъяснимого становилось все больше. Всюду царил хаос, а здание было захламлено довольно безобразным образом. Неформалы таскали битый цемент, доски, остатки лесов, прошлогодние листья, пачки газет, даже ломаную мебель, судя по всему, оставшуюся от расселенных квартир. В толпу неформалов они встроились на удивление легко; было похоже, что на них просто не обратили внимания, тем более что даже Катя предусмотрительно пришла в потрепанных дачных шмотках, идеально подходивших для подобной работы.

Митя делал все, что нужно, а вот сосредоточиться на этом ему никак не удавалось; постоянно пытался отобрать у Кати тяжелые или режущие предметы. А еще каждый раз, когда она отворачивалась, он смотрел на нее, давал себе слово этого не делать и не мог с собой справиться. Было видно, что она все еще немного растеряна, и ее тонкое лицо казалось еще тоньше на холодном весеннем ветру. Работать в перчатках показалось ей неудобным, и Митя начал опасаться, что нагромождениями строительного мусора и непонятных предметов она в итоге руки поранит. Но это же, как ему показалось, исключительно потому, что он ее сюда и привел, а значит, был за нее в ответе, давало ему право смотреть на ее руки, тонкие, чуть неловкие, после бессолнечной ленинградской зимы белые почти до голубизны, почти прозрачные. Он вспомнил, как она ему говорила, что практически не способна загореть, только сгорает; а под летним солнцем сгорает быстро и почти до мяса. Митя ловил ее взгляд и думал о ее глазах, внимательных, сосредоточенных, глубоких и одновременно чуть растерянных; он не понимал, как это могло быть одновременно. Катя зачем-то накрасила губы, не очень умело, и ее чуть розовая помада вспыхивала под густеющим весенним солнцем. А еще ему стало казаться, что вся она светится изнутри прозрачным и несокрушимым светом души. Среди человеческого хаоса ее тонкая фигурка в старой дачной куртке на два размера больше казалась ему самым уязвимым и самым устойчивым во всем окружающем мире, и он не мог перестать о ней думать.

— Почему ты на меня так смотришь? — спросила Катя.

— Боюсь, ты поранишься, — ответил Митя, — или кто-нибудь из упитых панков на тебя что-нибудь перевернет. Это же я немного по дурости тебя сюда зазвал. Честно говоря, я не знал, что все так запущено.

— Наверное, я совсем бесполезная.

Не то чтобы он не думал о Кате раньше, в предыдущие недели или месяцы, но после этого дня на Мойке Митя понял, что только с большим трудом ему удастся думать

о ком или чем бы то ни было еще. В школе ему помогала память; он отвечал на вопросы и даже выводил теоремы, смутно понимая, о чем его спрашивают, что от него требуется и что же он делает. После «курсов» предложил Кате немножко пройтись пешком. Она кивнула.

— Куда? — спросила она.

— Я еще не придумал, — неловко и растерянно ответил Митя. Он был уверен, что Катя откажется.

— Пойдем через Михайловский сад.

Они обогнули Этнографический музей и снова вышли в Михайловский сад, к тому самому небольшому пруду, рядом с которым Митя тогда ее встретил, уже больше полугода назад. Несмотря на весну, день был серым, немного туманным, сыроватым; наступали сумерки, смешивающиеся с тонким весенним туманом. Все становилось прозрачным; казалось, что дыхание счастливой земли пропитывает воздух. Митя шел слева от Кати, на полшага впереди, чтобы постоянно видеть ее лицо. Как и тогда на Мойке, ему стало казаться, что в сумерках ее окружает тонкий прозрачный свет, который она сама не осознает.

— Мы знакомы почти столько, сколько я себя помню, — вдруг сказала Катя, — и при этом не так давно. Это не кажется тебе странным?

Странным Мите это не казалось. Ему казалось, что они были знакомы всегда. Но он все равно кивнул. Она ступала чуть медленнее обычного. Митя неловко согнул правую руку в локте, надеясь, что она возьмет его под руку; но Катя либо этого не заметила, либо не поняла смысла его жеста.

— Ты знаешь, — ответил он, чуть подумав, — на самом деле я даже не знаю, сколько мы с тобой знакомы.

— В каком смысле?

— Ты для меня самый близкий человек.

Катя замедлила шаг и удивленно на него посмотрела.

Это было как нырнуть в ледяную весеннюю воду, но в этот момент выбора у него уже не было. К тому же Митя довольно давно к этому готовился; несколько недель, а возможно, и месяцев, неосознанно или полусознанно, а всю эту неделю вполне осознанно.

— Я как бы в тебя влюблен, — быстро проговорил он, на одном дыхании.

Катя окончательно остановилась и изумленно на него посмотрела.

— Ты не шутишь?

Митя покачал головой.

— Спасибо, — ответила она с чуть скрываемой досадой, — это очень лестно. Ты очень хороший, но ты не совсем мой идеал.

Он беспомощно пожал плечами.

— Я думала, что мы друзья, — добавила она расстроено и немного обиженно.

5

Историю с Катей Митя переживал долго и непросто. Ему было больно и немного горько. Поначалу он в основном мучил себя вопросами, что он сказал или сделал не так и что именно ему следовало сделать для того, чтобы все обернулось по-другому. Понимание того, что такого иного, невыбранного, упущенного им пути не существовало, приходило к нему медленно и тяжело, но постепенно пришло и оно. Тогда Митя мысленно оглянулся на тот знакомый и до этого времени практически никогда не вызывавший сомнений мир, мир, который для него Катя в значительной степени и олицетворяла, и неожиданно этот привычный мир показался ему маленьким, тесным,

душным, запертым ото всех ветров, затхлым, как домашняя кладовка. В этот момент он отчетливо увидел их с Катей жизнь в качестве маленького острова, который со всех сторон омывали волны времени и волны реальности и вокруг которого во все стороны до горизонта раскидывался огромный подлинный океан с его страстями, страхами, свершениями, ошибками, пороками, с его туманной свободой и его бесцветным автоматизмом. Митя не начал восхищаться тем, что до этого презирал, но он стал ощущать себя так, как если бы стены его комнаты вдруг оказались сделанными из бутфорского папье-маше, а за ними приоткрылся просторный и неизвестный ему мир. В каком-то смысле он был даже благодарен Кате за это чувство разочарования, озарения и освобождения, с которым пока что толком не знал, что делать, но вот все конкретное, так или иначе связанное с Катей, теперь стало вызывать у него не боль, а неприязнь, раздражение и скуку.

Тем временем в школе произошла история, на первый взгляд хоть и малозначимая, но сыгравшая существенную роль в дальнейшем развитии событий. Говорили, что классная руководительница параллельного класса устроила выговор родителям одной девицы, упорно приходившей на уроки с феньками на обоих запястьях. Судя по слухам, что-то такое учителя между собой обсуждали и, видимо, определенную воспитательную работу решили провести, поскольку во время очередного «классного часа» их классная тоже неодобрительно высказалась о «так называемых неформалах» и о «поведении, недостойном уважающего себя десятиклассника»; как обычно, дурацкие наставления все пропустили мимо ушей. Было понятно, что классная считает, что обязана это сказать, а они были не так уж против все это выслушать, по крайней мере, до тех пор, пока ничего практического от них не требовалось. А вот параллельный класс неожиданно взбунтовался. Через несколько дней на перемене посередине едва ли не центрального школьного коридора Митя столкнулся с тремя девицами из параллельного класса, включая и ту, которая послужила изначальной причиной всей этой неразберихи, выкрикивающих хором: «Мы не хиппи, мы не панки». Одна из девиц при этом хлопала в ладоши, а другая выстукивала каблуками ритм. Делали они это так задорно, с таким видимым счастьем протеста и свободы, что Мите захотелось немедленно к ним присоединиться. Но сделать это он не успел.

Подобную кричалку он уже когда-то слышал; так что удивила Митю не сама кричалка, а то, что за ней последовало. Из одного из кабинетов появилась завуч, и в тот момент, когда он ожидал, что разразится очередной скандал, завуч сделала вид, что ничего не слышит, быстро повернулась и снова исчезла в кабинете. Прожив всю жизнь в городе, наполненном хиппи, панками, рокерами и прочими пока еще безымянными для него существами подобного рода, которыми до этого момента Митя интересовался мало и которых по большей части немного презирал, в особенности за показушность и попрошайничество в подземных переходах, он хорошо понимал, что неформалы существовали и десять, и двадцать, и тридцать лет назад. Но дело было не в этом. Их школьная завуч была для них ходячим воплощением несвободы, почти таким же символом бессмысленной и удушающей дисциплины да еще и идеологизированной, как районный отдел народного образования с его дурацкими инструкциями, программами и методичками, единственным желанием которого, как им казалось, было душиить и не разрешать. И то, что именно завуч так быстро капитулировала и ретировалась, по всей видимости, означало, что наступило новое время, и это время было временем новой свободы.

Несмотря на изложенное в коридорной кричалке «мы не хиппи», хлопавшая в ладоши девица была явно хиппующей, поскольку буквально через пару недель, как-то поближе к вечеру, Митя встретил ее на Невском во всем прикиде да еще и с серой хол-

щовой сумкой от противогаза. Как ее зовут, он не помнил, но ошивалась она, как ему показалось, без особой цели, так что он подошел сказать «привет», и они быстро разговорились. Как выяснилось, девицу звали Валею. Она была явно из интеллигентной семьи, и если исключить приблизительно четверть слов, которых он не понимал, так сказать, на уровне словаря, они говорили на одном языке. Валя объяснила, что должна была встретиться с какой-то подругой «на Климате», но ее «продинамили». Что именно называется «Климатом», он помнил чрезвычайно смутно, точнее, говоря по правде, не помнил вовсе, но решил это не выяснять, тем более что ему было действительно все равно. А вот продолжать болтать с ней хотелось.

— Давай хоть куда-нибудь сядем, — сказал он, оглядываясь на движущуюся в обе стороны толпу.

Валя критически его оглядела.

— Уж больно у тебя цивильный вид, — подытожила она. — Если кто увидит, меня потом застэбуют.

Митя собрался попрощаться, но Валя вдруг передумала.

— Ладно, — сказала она, — Давай приземлимся в «Лягушатнике». Туда кто только не ходит. И цивилы там полно.

Против «Лягушатника» Митя ничего не имел, они купили по мороженому и плюхнулись на широкий диванчик.

— Только Валя — это я для школы, — добавила она с некоторой неловкостью. — Если появятся системные, то на самом деле я Рабиндранат.

— А, — сказал Митя и на всякий случай кивнул, чтобы показать, что все понял.

— Привет, Рабиндранат, — добавил он.

Валя церемонно протянула ему правую руку, кажется, с пятью феньками, Митя ее пожал, и они засмеялись. Продолжили болтать, сначала о школе, потом обо всем на свете.

— Ты что, вообще не тусуешься? — вдруг спросила Рабиндранат.

— В каком смысле?

— Понятно.

Она задумалась.

— Первым делом надо будет тебя переодеть.

— Прямо сейчас? — спросил Митя. — И это так необходимо?

— Не препирайся. Если я тебя приручила, я за тебя в ответе.

— А когда ты меня приручила?

— Уже как полчаса, — ответила Рабиндранат.

Хотя и с некоторыми усилиями, за следующую неделю переодеть его удалось. Рабиндранат даже сходила с ним в комиссионку, и часть подходящего они нашли именно там. Надев весь прикид разом, Митя посмотрел в зеркало и на секунду почувствовал себя неоправданно счастливым. Вместе с Рабиндранат они пошли на «Казань», Митя повалился на еще холодной земле, с кем-то она его там познакомила, но особого внимания на него не обратили.

— Вот это и есть победа, — гордым в первую очередь за свои таланты голосом заключила Рабиндранат.

А вот другие реакции на его новый облик были не совсем такими, как ему бы, наверное, хотелось. Когда он уходил тусоваться на «Казань», родители были на работе, а Аря в школе, какое-то у них там было мероприятие, но вот когда он вернулся, все уже были дома. Первой его увидела Аря.

— Так, — довольно неодобрительно сказала она, осматривая его с ног до головы, — ход конем. И давно это с тобой?

Тем временем в прихожую вышла мама.

— Позорище. Как попрошайки в переходах. Смесь бомжа и сумасшедшего дома.
 — Не преувеличивай, — возразил папа, — хиппи всегда были, есть и будут.
 — Гопники тоже всегда были. Но это не значит, что мой сын должен быть одним из них.

Она ушла к себе в комнату и хлопнула дверью.

— А ты знаешь, — продолжил он, поворачиваясь к Мите, — может, тебе даже и идет. Ты только к Иркиным родителям так не ходи, а то у них инфаркт будет.

Аря громко хмыкнула. Митя чувствовал себя картинкой с выставки и надеялся, что этот досмотр когда-нибудь да закончится. Но еще через несколько дней, возвращаясь вечером, он встретился с Лешкой.

— Чего вырядился? — сказал Лешка. — Мы на Невский ездим таких мочить.

6

Так Митя начал тусоваться. Как это ни странно, проще всего ему дался язык; Митя довольно быстро понял, что у множества знакомых предметов есть и другие названия, и относительно легко начал ими пользоваться. Переименовывание города и мира даже вызвало у него неожиданное чувство радости. Он узнал, что круглый выход из метро «Площадь Восстания» называется «Шайбой», переход от Публичной библиотеки с сторону Пассажа — «Трубой», а «Климат» — это выход из метро «Канал Грибоедова», у которого все вечно назначали друг другу встречи. С мелочами было сложнее. Только теперь Митя понял, как рисковал, съехидничав по поводу ника Рабиндранат, и как ему повезло, что она не принимала все это вполне всерьез. Смеяться над никами было нельзя, нельзя никогда и ни при каких обстоятельствах. Точно так же, как он понял почти сразу, нельзя было смеяться над энергетикой и магией; хипповский мир был наполнен энергиями, хорошими и плохими, магическими объектами, телепатией, порчей и невидимыми связями. Хуже, чем не поверить в энергетическую связь, было только попытаться посмеяться над чьей-нибудь фенечкой: за это можно было легко огрести в глаз. Вообще Митино непонятно откуда взявшееся предположение, что контркультура должна быть способной смеяться, и в том числе смеяться над собой, не подтвердилось совершенно. Оказалось, что все здесь катят друг на друга бочки, да еще быстрее и хуже, чем цивилиы, и месяцами ходят обиженными. Народ ухитрялся разосраться из-за всего, от музыки до портвейна, от телок до вписок. И тем не менее, несмотря ни на что, этот волшебный мир и его, Митина, к нему принадлежность покорили его быстро и, как ему казалось, навсегда.

Из этого нового волшебного мира он особенно отчетливо ощущал, насколько окружающий цивилильный мир, мир заработков, карьер и покупок, был одновременно удушающим и вызывающим презрение. Мите нравилось больше к нему не принадлежать, смотреть на него свысока и над ним смеяться. Даже на родителей он начал смотреть немного иначе. Про «Сайгон» Митя, разумеется, давно слышал, но никогда там не оказывался, и поначалу никакого впечатления на него «Сайгон» не произвел. Если он что и напоминал, то больше всего привокзальную забегаловку. По первому ощущению здесь было людно, тесно, душно и довольно бессмысленно, а столики были просто чудовищными по потрепанности, неудобности и отсутствию стульев. Так что пипл устраивался на подоконниках. Но так было по ощущению именно что по первому; на самом деле за всем этим был скрыт огромный мир, да еще и растянувшийся на десятилетия. Недалеко от входа стояли столики пониже со стульями; как объяснили Мите в первый же его раз в «Сайгоне», кажется, та же Рабиндранат и объяснила, там тусовались все великие, от Бродского до Б. Г. А вот дальше были расставлены те чудовищные высокие столы, за которыми в основном и распивали, в том числе и тот самый ле-

гендарный «маленький двойной». Распивали там и много что еще, но уже по большей части из-под полы, тем более что и антиалкогольная кампания еще не кончилась. Кофе, конечно, распивали не только из любви к Хэму, Сартру и парижским кафе.

Народ болтался здесь самый разный: рокеры, конечно, рок-клуб на Рубинштейна был практически напротив, такие, как Митя, городские хиппи, просто прихиппованные, особенно девицы, панки, по большей частью из предместий, а системные, часто искавшие вписку, кто на день, а кто и на месяц, так и вообще почти со всей страны. Иногда заходили кришнаиты и всякие прочие йоги. Удивительным образом, хиппи и панки сосуществовали чаще мирно, чем наоборот, хотя ходили слухи про гопников, которые специально приезжали в «Сайгон», чтобы мочить западную плесень. Согласно многократно рассказанному, при виде гопников хиппи пытались быстро свалить, а вот панки вроде бы как раз веселились, и вот тут уж не везло как раз гопникам. Поскольку, в отличие от большинства рассказывающих, в драке с гопниками участие Митя принимал, он сомневался, что подобную драку между панками и гопниками можно было устроить на углу Невского и Владимирского, но свои сомнения он оставлял при себе, не спорил и покорно слушал. Истории вообще рассказывали многократно и редко помнили кому и какие. Часто один и тот же пряник мог в десятый раз грузить то ли новых, то ли тех же самых собеседников одной и той же телегой. Но случалось и наоборот, и телегу, выкаченную накануне, можно было услышать от совершенно незнакомого персонажа, который, разумеется, приписывал ее себе, да еще и обросшую массой новых, часто неожиданных подробностей.

В том же дальнем углу «Сайгона», чаще за столиками, но и на подоконниках, иногда тусовались фарцовщики, пытавшиеся сбыть за, как тогда казалось Мите, нереальные деньги всякие выключенные у иностранцев или выменянные на комсомольские значки предметы. Несмотря на то, что, судя по рассказам, золотой век фарцовки в «Сайгоне» давно прошел, здесь до сих пор продавали самые неожиданные вещи: от пластинок и книг об индуизме до забугорных лифчиков и пластиковых бус, хотя выбор и не был таким большим, как на втором этаже Гостиного двора, который называли «Галёра». Для более серьезной фарцовки договаривались о местах, менее затоптанных. Довольно размытая граница между миром протестной культуры и тем, что еще недавно казалось Мите мелкой уголовщиной, поначалу ему изрядно мешала, но потом Митя списал это на собственную ограниченность и цивилизность, представил себе, какое выражение лица было бы у Кати, если бы он обо всем этом ей рассказал, порадовался, даже мысленно рассмеялся, постарался привыкнуть и в целом ко всему привык. Привык настолько, что начал сам рассказывать, как был в Индии, где его папа работал референтом, и как одно время он даже жил в ашраме. Его начали замечать и относиться с большим уважением. Но на гитаре он не играл, и вот это его позиции сильно подрывало. Несмотря на декларируемую практически всеми любовь к музыке, умение играть на фоно в этом смысле не прокатывало совершенно.

На самом деле «Сайгон» был старым, а к тому времени, наверное, уже и устаревшим центром целого мира, устроенного похожим образом, где тусовались те же самые или похожие на них персонажи. В теплые месяцы на «Казани» встречались и тусовались, а в летние часы валялись на траве, как раз вокруг Кутузова и Баркляя-де-Толли, играли на гитарах. На «Трубе» и на «Климате» грелись в более холодное время; в «Трубе» еще играли и аскали, на «Климате» не играли почти никогда, там было и негде, да и аскали редко. «Эльф» был похож на «Сайгон»; от «Сайгона» до Стремянной идти было всего ничего, если не ползком, конечно; там было менее легендарно, зато гораздо живее, а в «Эльфийском садике» регулярно что-нибудь да происходило. Тяжелый серый фасад дома странно контрастировал с разноцветными хипами и панками из «Эльфа». Перед походами в рок-клуб, где вечно не было мест и попасть куда счи-

талось большой удачей, тариться портвейном полагалось в «Гастрите», который был аккурат напротив «Сайгона», на углу Рубинштейна, на полпути до рок-клуба. На самом деле портвейном там тарились и безотносительно. Но главным было даже не все это; главным было то, что вокруг этого во многом символического центра по всему пятимиллионному городу были разбросаны сотни флэтов. На флэтах жили и вписывались, трахались и ругались, пили и играли на гитарах, писали стихи. В поисках вписок приезжие иногда по полдня шастали по треугольнику «Сайгон»—«Эльф»—«Гастрит»; у входа в «Сайгон» подолгу зависали; Мите их было жалко, но вписать кого бы то ни было у них дома было совсем уж нереально.

А вот с тем, что пипл называл музыкой, у Мити сложилось не очень, и высокохудожественными ему эти произведения не казались. Общий драйв рок-клуба, конечно, захватывал, но по большей части все это было уж слишком серьезно, а временами еще и надрывно; при этом как раз слова обычно было лучше не слышать. Что самое обидное, сказать об этом было невозможно; подобного тусовка не прощала. На «Трубе» тоже играли, но обычно очень так себе, да и толпы проходивших в обоих направлениях в сочетании с асканьем как-то не способствовали. Но было у Мити и любимое место — Ротонда. В основном там просто тусовались, но уже без серой тесноты легендарных общепитов и растерянных приезжих, не говоря уж о фарцовщиках. Так что и общались там немного иначе, хоть и не без телег, конечно. В холле Ротонды, окруженном гигантской винтовой лестницей, была отличная акустика. Когда пели, пели проще, жестче и прямее, без той позы, которая к тому времени уже выработалась в рок-клубе. А вот пьяных было больше; часто валялись прямо на полу, но по-хорошему. Гопоты не было совершенно. А еще среди пипла на Ротонде острее ощущалась атмосфера фри-лава. Почти всегда здесь было много отличных девиц, своих в доску, включая Митину первую женщину, хотя, как он выяснил впоследствии, как раз его она практически не запомнила.

7

Где-то почти в самом начале Митино тусования на Ротонде он познакомился с девицей по имени Урда. Почему ее так звали, она не объяснила, а спросить Митя постеснялся. Не то, чтобы она была олдовой, даже близко нет, но все же была чуть старше его и казалась значительно опытнее. Потрепались, послушали музыку, выпили, но по мелочи; никаких серьезных изменений Митя в ней не заметил. Ее родители работали на Шпицбергене, так что в ее распоряжении была целая квартира.

— Так у тебя теперь флэт? — заинтересованно спросил Митя.

— Еще чего, — она даже фыркнула.

Когда начали расползаться, Урда спросила Митю, нужна ли ему вписка.

— Спасибо, — сказал он, — я же ленинградский.

Его немного удивило, что после всех их разговоров она уже забыла даже это. Урда критически провела по нему взглядом.

— Тебе нужна вписка, — заключила она.

— Почему?

— Ты как картинка с выставки. Как тот хиппи, будешь ночью из кастрюли лапшу руками есть.

Митя попытался объяснить ей, что она ошибается, но Урда была непреклонна. Ему почему-то показалось, что она пытается выглядеть пьянее, чем была на самом деле. Но спорить ему было тяжело, язык немного заплетался; в этом она была права. Так что он поехал вписываться к ней. По дороге еще потрепались, и Митя увидел, что Урда почти что окончательно протрезвела.

Едва заперев квартиру, она начала сбрасывать одежду на пол; сначала верхнюю, но на этом не остановилась. Урда не была толстой, даже полной, скорее, просто крупной: крупные руки и ноги, большая грудь, широкие скулы.

— Вперед, — сказала она. — Ты, вообще, собираешься раздеваться?

Мите было неловко. До этого он и целовался-то всего пару раз, да и то с давно знакомыми соседскими девицами, с которыми тусовался еще в гаражах. Seriously это не было. Но что мог, он сделал, может быть, не сильно блистательно, но, как ему показалось, и без тех катастрофических провалов, над которыми издевались девицы на тусовке. В особом восторге Урда, похоже, не была, хотя пару раз вскрикнула и чмокнула его вроде бы с искренним теплом. Сказала, чтобы заваливался на родительскую кровать в соседней комнате, и почти сразу же срубилась. Митя вышел в небольшую проходную комнату, оделся. Почему-то ему очень хотелось есть. Открыл холодильник, нашел кастрюлю с макаронами и действительно чуть было не начал хавать их руками. Потом вдруг вспомнил и побежал искать телефон.

— Очень рада тебя слышать, — сказала мама голосом без малейшей нотки радости.

— Прости, пожалуйста. Мы тут пели и общались, и я как-то не заметил времени. А сейчас еще и метро закрыли.

— Так вы уже допели?

— Не совсем еще, но те, кто живут рядом, постепенно расходятся.

— И что ты собираешься по этому поводу делать?

— Надеюсь, найдут, где меня положить. Здесь большая интеллигентная квартира.

— Охотно верю, — ответила мама, — И избранное общество. Почти аристократическое. В подобных местах оно всегда такое. Главное — в него попасть. Большое тебе спасибо, что позвонил сегодня, а не через неделю.

Митя растерялся и промолчал.

— Спокойной ночи, — сказал он.

— Как скажешь. Спокойной ночи и тебе, — мама повесила трубку.

Митя вернулся к макаронам, все-таки вывалил их на тарелку, поискал нож и вилку, вспомнил, что нож не нужен, не нашел ни того, ни другого и все-таки съел лапшу руками. Тихо вымыл за собой тарелку. Заходя в спальню Урдиных родителей, он почувствовал себя крайне неловко, но при виде комнаты понял, что вписывались в ней и до него. И, вероятно, вписывались немало. Завалился на шершавое покрывало. Первый раз в жизни попытался уснуть, не раздеваясь, но из этого ничего не получилось. Тогда он снова включил свет, открыл платяной шкаф, нашел постельное белье, постелил, даже вставил одеяло в пододеяльник, забрался под него и почти мгновенно уснул.

Проснулся он от того, что Урда вылила на него банку холодной воды.

— Тебе здесь что, гостиница? — крайне недовольно спросила она. — Тоже мне разлегся. А кто потом белье стирать будет? Ты? Что-то я сомневаюсь. По шкафам все лазать умеют, только у нас в Питере так не принято. Усвоил?

— Угу, — сказал Митя.

— Тебе в Питере вообще есть, где вписаться? Я тебя могу еще день-два повписывать, но здесь тебе не флэт.

— Я уже понял. Но я, вообще-то, питерский.

— Так какого ж черта ты здесь делаешь? — теперь была ее очередь удивляться.

— Ты вчера сказала, что меня предки уроют, если я в таком виде домой вернусь.

— Что, правда? Заботливая какая. Сама себя не узнаю. Не помню, на хрен. Вообще не помню, как приехали.

— А еще я ночью почти всю лапшу съел, — признался Митя. — На хавчик пробило.

— Ты что, и правда решил, что я тут гостиница? Ладно, хрен с тобой, не грузись, — добавила она. — Нет лапши, так и нет. Сварганим чего-нибудь.

До трамвая пришлось идти через огромный двор, больше напоминавший пустырь, и Митя удивился тому, что вчера вечером всего этого не заметил. А потом еще почти полчаса трамвай трясся до метро «Купчино». «Заповедные места», — подумал Митя. В голове еще шумело. Свалившийся на него опыт был таким странным, что он не знал, что с ним делать и что об этом думать. Митя подумал, что с Урдой они явно еще увидятся, и увидятся много где, а он так и не мог решить, говорить ли ей и что именно говорить. Решил оставить решение на потом.

А вот разговор с Рабиндранат получился самый неприятный, и Мите стало перед ней стыдно.

— Я, можно сказать, тебя в люди вывела, — сказала она, даже не поздоровавшись, — по коммиссионкам с тобой шмоналась, а ты с этой ушел.

— Ничего у меня с ней не было, — ответил Митя, стараясь не поднимать глаз.

— Не трахай мне мозг, а? Я-то думала, что ты голубой, что ты ко мне так, а я тебе, значит, просто не нравлюсь? И сказать это по-человечески ты не мог?

— Ты мне очень нравишься, — это было правдой, так что ему было легче посмотреть ей в глаза.

— Поезд ушел, — отрезала Рабиндранат и месяц с ним не разговаривала.

8

Чуть позже произошло еще одно изменение, ставшее для Мити существенным: его перестала отталкивать музыка. Дело было не только в драйве и ощущении своей причастности общему переживанию, но, как это ни странно, в первую очередь в самих смыслах. Он понял эту музыку как-то неожиданно, рывком, а поняв и почувствовав, уже не мог оторваться. Она начиналась у самых низов быта, у тех пластов жизни, с которыми Митя почти не сталкивался или которые уже не застал, поднимаясь из грязных складов и сортиров в коммуналках, подворотен и складов, разбитых дворов и темных переулков, кружась над пьяными трактористами и соседями по лестничным площадкам хрущевок, торгашами и уголовниками. Но это не было главным; сквозь это отвратное и душное месиво били слепая и неистощимая энергия и открытость опыту, хаос крови, не находящие себе применения и перемежающиеся столь же слепыми всплесками надежды. А еще выше, и над бытом, и над этой хаотичной пляшущей энергией бесцельной жизни, нависала тоска по бесконечности, неготовность удовлетвориться чем бы то ни было, кроме недостижимого всего или столь близкого ничто. Все это было связано друг с другом гипнотическим однообразием бьющегося ритма и той громкостью звука, которая заглушала всякие мысли. В этой смеси, оказавшейся столь единой и столь органичной, рваные предложения, еще относительно недавно казавшиеся бессмысленными, и слова, как ему раньше казалось, бывшие лишь случайными и пустыми украшениями пульсирующего крика, приобретали трагический и горестный смысл, ускользающий от логического пересказа.

К своему немалому изумлению, постепенно Митя начал слушать музыку и на касетах. Ее нервный ритм, надрыв и слепота, паясничанье и бессмыслица неожиданно оказались для него близкими; страстная жизненная энергия, разбивающаяся о стену холодного советского мира, опустошенность, тоска, счастье, отчаяние, страсть, слепая воля, хаотичный и невидящий бунт, способность до самого конца уходить в свои чувства и упиваться ими, а еще отзывавшиеся во всем этом огромные пространства неожиданно нашли дорогу к его душе, и раз за разом эта дорога становилась все короче. Митя погружался в музыку все глубже и глубже, сливался с ней все легче и легче, и она становилась для него все менее и менее чужой. Когда народ начинал подпевать, Митя иногда подпевал вместе с ними и поначалу сам не мог поверить, что это делает. Это открытие и произошедшие в нем самом перемены показались ему столь значи-

мыми, что он попытался приблизить к этому миру Арю; даже взял ее с собой в рок-клуб на Рубинштейна. Зная Арину неприязнь к сентиментальности, повел ее на концерт жесткий, надрывный, местами страшный.

— Уши, — сказала Аря, когда они сворачивали назад на Невский.

— Что?

— Мне кажется, столько грехов они не совершили.

Все еще оставаясь под чуть гипнотическим влиянием музыки, Митя посмотрел на нее с недоумением.

— Уши, мои уши, — объяснила Аря и добавила: — Поздно, батенька, прокомпостирировали.

— Прекрати, — обиженно ответил Митя.

— Мне кажется, что я знаю, что такое рок-музыка, — продолжила она, — хотя и не очень ее люблю. Но это был какой-то иной предмет. Так орут гопники в подворотнях.

— Ничто не бывает неизменным, — за время своего пребывания на тусовке Митя научился говорить банальности с глубокомысленным видом, но Аря его прощала. — Да, ты права, это не «Пинк Флойд» или не «Джудас Прист», и даже не «Эй-си/ди-си», но это просто другой рок. И другая музыка.

— А осетрина, как мы знаем, — парировала Аря, — бывает другой свежести.

Сначала Митя собрался на это окончательно обидеться, и особенно на неожиданно хамский тон, но потом попытался убедить ее снова.

— Они поют о том, что важно, о том, что действительно чувствуют, и говорят об этом напрямую.

Аря хмыкнула.

— Знаешь, — сказала она, — есть такие люди, особенно, к сожалению, женщины, которые не способны почти ничего почувствовать, пока не накрутят себя до нужного градуса истерики. Но, как бы тебе сказать, чтобы без обид, обычно это люди не нашего круга.

— Эти люди, которых ты презираешь, во-многом лучше, светлее и талантливее тех, кого ты считаешь интеллигенцией.

— Я в этом не уверена.

После этого разговора тему рок-музыки они старались не обсуждать.

А потом и сам Митя относительно надолго выпал из тусовки и из этой уже почти ставшей привычной для него жизни. Сначала приблизились выпускные; их надо было сдать хорошо; многое пришлось к ним вспомнить, а кое-что и выучить. Потом были вступительные; оказалось, что и они требуют немало зубрежки, часто довольно неожиданной. Митя пошел учиться в ЛЭТИ на специальность инженера по программному обеспечению. Ученым он себя не видел, а все говорили о том, что электроника скоро будет совершать поразительные вещи. Чем точно он хочет заниматься, Митя не знал, но перспектива оказаться на переднем крае невероятных событий и удивительных достижений захватывала его воображение. А вот сама учеба на первом курсе оказалась однообразной и довольно скучной. Гораздо интереснее были студенты; кто только не учился с ним на одном потоке, совсем разные, со всей страны, включая не только болгар или немцев, но даже вьетнамцев и кубинцев. Пожалуй, именно тогда Митя впервые действительно ощутил себя не только в центре огромной страны, самой большой страны мира, над которой никогда не заходит солнце, но и совсем особенной страны, в определенном, но очень существенном смысле находившейся в центре этого мира, в какой-то удивительной точке, в которой собирались бесчисленные кровеносные сосуды окружающего мироздания. Ему показалось, что он впервые по-настоящему понял то немного странное, о чем дед Илья говорил с ними теперь уже так давно, тогда, на набережной.

Митя попытался заговорить о своих институтских впечатлениях и с дедом Натаном, но дед видимо поморщился. Потом подумал и все же ответил.

— Теперь стало принято говорить в Советском Союзе как об империи, — сказал он, — И это, конечно, подмена понятий, иногда от избытка страстей, иногда от ложного понятия стремления к поэтизации, иногда от простого невежества. Но если такую терминологию все же принять, то мы живем в самой большой сухопутной империи в истории человечества. И что бы ни говорило поколение ваших родителей, история такой империи обречена быть либо эпосом, либо трагедией. Надеюсь, что трагедией она уже не станет.

— Неужели действительно самой большой? — изумленно переспросил Митя. — За всю историю?

— За всю историю, — повторил дед.

Что же касается кубинцев и вьетнамцев, то перед началом учебы и те и другие почти год изучали русский; вьетнамцы уже болтали на нем очень хорошо, а кубинцы все еще почти никак. Так же обстояло дело и с учебой. Вьетнамцы могли заниматься с шести утра до полуночи, а кубинцы приходили на лекции с осоловелыми глазами и смотрели на преподавателей так, как будто они были экзотическими животными. Тем не менее, несмотря на отличный русский, с вьетнамцами было скучно, да и говорили они в основном об уроках и домашних заданиях, а вот с кубинцами замечательно. И особенно замечательно было с ними пить. Девушки с Кубы были прекрасны, теплы и необыкновенно легки в общении. Так что скоро у Мити появилась девушка-кубинка. Городским студентам приходило в общежития было запрещено, и в особенности в общежития, где жили иностранцы, но всевозможные лазейки Митя регулярно находил. А танцевала она так, как ему казалось, человеческое существо танцевать вообще не способно. Общаться ней было сложнее; русский она знала плохо, и совместная учеба эту ситуацию никак не меняла; знала так плохо, что Митя собрался учить испанский. Но когда он уже начал зубрить испанские глаголы, несколько неожиданно выяснилось, что параллельно с ним она встречалась еще с двумя студентами, одним кубинцем и одним нашим, из Перми. Идти к ней с претензиями было унижительно и глупо, но учебник испанского Митя забросил. В любом случае ему все больше хотелось с девушками еще и разговаривать.

Так постепенно Митя начал возвращаться в уже привычный для него мир. Теперь он был старше и чувствовал себя увереннее. Но и в городе за этот год многое изменилось; флэтов стало заметно больше, Мите стало казаться, что город буквально кишит неформалами самых разных сортов и видов. Всюду продавали самопальные книги, от «Тарзана» до пособий по практическому дзен-буддизму. Что-то похожее произошло и с роком, хотя скорее в положительном смысле. Если раньше сквозь рок рвалась слепая юная сила, разбивавшаяся о железный быт привычной советской жизни, то теперь стало казаться, что все препоны и преграды сняты и что наступившая юная весна надежды половодьем затапливает окружающее пространство. Чаще всего у Мити, как почти у всех вокруг него, это вызывало нерассуждающее чувство восторга. Но не всегда. «В каком-то смысле все это даже немного слишком», — как-то подумал он и почувствовал себя чудовищным ретроградом, никому об это не рассказал, даже Аре. Однажды Митя обнаружил, что Халтурина перекрыта; оказалось, что идет целая процессия кришнаитов и катит свою тележку. Как обычно, били в барабаны, пели «Харе Кришна, харе Рама». Но на этот раз его окликнул кто-то из знакомых, Митя подошел поближе, и ему предложили катить тележку вместе. Он согласился, потом оглянулся и обнаружил, что слева, совсем рядом с ним, ту же самую тележку катит Урда. Теперь она была в сари, но Митю не узнала, а может быть, была просто погружена в медитацию.

Слоняясь по квартирникам, флэтам и впискам, Митя заново открыл для себя и раньше смутно ощущавшуюся им особую красоту ленинградских проходных дворов, обшарпанных дворовых стен, разбитых парадных и лестниц, освещенных тусклыми и одинокими желтыми лампочками, даже перевернутых мусорных баков. О них писали и пели, но только теперь Митя понял, почему именно: они оставляли человека с оголенной правдой его существования в мире, невыкрашенной, неприукрашенной, искренней и трагической. Десятки тысяч дворов, часто переходящих друг в друга, превосходящих способности памяти, оставляли воображение наедине с самим собой, с одновременной конечностью и неисчерпаемостью собственного существования; они были лабиринтом, в котором отражалась сама суть человеческой души, погруженной в город. Одно время Митя намеренно ходил из двора во двор и не мог ими насытиться. Но потом произошло то, что в проходных дворах рано или поздно должно было произойти; и короткая встреча с гопниками, хоть и окончившаяся сравнительно благополучно, одним неглубоким порезом и несколькими синяками, его отрезвила. Признавая эстетическое и смысловое совершенство ленинградских дворов и то их особое качество, которым они покоряли душу, Митя все же старался идти напрямую к нужным ему подъездам, а ошивавшуюся во дворе шпану держать в поле зрения, хотя бы бокового. Гулять по крышам было и светлее, и спокойнее.

А еще, как ему показалось, на тусовке стало больше фрилава, а может быть, это просто он, Митя, стал старше и привлекал к себе больше внимания. Он очаровывался и разочаровывался, так что его гёрлы, да и не его гёрлы, временами менялись. У него даже был недолгий роман с Рабиндранат, но почему-то и на этот раз ничего из этого не получилось. Конечно же, его девиц не было много, совсем не столько, как у многих других вокруг; и иногда Мите становилось обидно, что им интересуются так мало. Наверное, если бы он поставил это своей целью, Митя мог бы эту ситуацию как-то исправить, но ему не хотелось никого использовать. Кроме того, довольно долго он искренне верил в то, что фрилав действительно означает свободную любовь, и одно время был даже захвачен им именно как идеей; только годы спустя он начал предполагать, что гораздо чаще это был обмен секса на внимание и статус на тусовке. Но к тому моменту возможности проверить эту гипотезу у него уже не было. А в тот год ему просто нравилось приходить на Ротонду, тусоваться стоя, пока было холодно, сидеть на ступеньках винтовой лестницы, когда потеплело, распивать со всеми, петь со всеми, и если кому-то из девиц хотелось с ним подружиться, он не был против. В каком-то существенном смысле он не видел между ними особой разницы, радовался им всем, даже, пожалуй, восхищался, иногда был счастлив вместе с ними, мысленно со всеми, но чаще так же вместе они ему надоедали. И это тоже было частью переживания наступающей для них всех юности духа и весны надежды. Быть со всеми и ни с кем, быть для всех и ни для кого было особым, хоть и редко наступающим счастьем и особым отчаянием. И только Арина продолжала смотреть на него с тревогой и досадой. Она считала, что среди всех этих людей он очень одинок, и эта новая его жизнь со всей ее безличностью и пустотой Арине совсем не нравилась.

9

В июне почти три недели подряд у них вписывался папин племянник Лева. Институт он только что окончил, как он утверждал, «временно» нигде не работал, жил вместе со своей мамой Тамарой Львовной и в целом за ее счет, а дядя подкидывал ему довольно крупные суммы на мелкие расходы. Но главное было не в этом. Лева уже был диссидентом, и не просто обычным кухонным интеллигентом, ругавшим зарвавшихся советских чиновников, а настоящим московским диссидентом. Не только вме-

сте с мамой, но уже и сам, он давал интервью иностранным журналистам, не боясь вступить в контакт даже с теми из них, кого окружали слухи, что они не только журналисты, а может быть, в первую очередь даже и не журналисты вовсе, вслушивался в их объяснения, быстро и внимательно учился тому, что следовало в таких интервью говорить, очень много читал, особенно по истории, а еще «подпольно» учил иврит. Уже сравнительно много лет Митя его почти не видел; точнее, сталкивался буквально несколько раз на всяких семейных мероприятиях, да и разница в возрасте и жизненном опыте была слишком велика. Но на этот раз сложилось совсем иначе, и они с Левкой почти подружились. А еще Митю восхищали идеалисты, практически в одиночку и, как ему казалось, без всякой надежды на удачу вставшие против огромной и практически всесильной системы. Мама восхищалась ими тоже, папа меньше, но, безотносительно к тому, в какой степени эти люди были правы, сам жест бескорыстного героизма покорял Митино воображение. Как-то глядя на Леву, Митя вспомнил рассказ деда Ильи об их семейной легенде и Сфере стойкости и подумал, что из их семьи диссидент Лева явно был наделен ею в полной мере.

Несмотря на то, что Леве мама искренне симпатизировала, его ежедневное пребывание в большой комнате, да еще, в силу планировки квартиры, частично проходной, стало постепенно казаться ей обременительным, и как-то за ужином, еще до того, как Левка вернулся, она сказала им, что попытается договориться с родителями о том, что некоторое время Лева поживет у них. Места у них было явно больше; а еще в тот же вечер Аря по секрету рассказала Мите, что папа взял с Левки слово, что в Ленинграде он ничем противозаконным заниматься не будет. Так получилось, что ни бабушка, ни дедушка не видели Леву уже много лет, и хотя, в принципе, не возражали поселить его у себя, захотели предварительно познакомиться с ним поближе. Так что, даже не поставив Левку в известность, его повезли на Петроградскую на своеобразные смотрины. Мите вся эта ситуация не очень нравилась, ночевки Левки в большой комнате ему ничем не мешали, да к тому же в тот день у него было довольно загруженное расписание, а последняя пара и вообще была из числа тех, которые лучше не гулять. Так что когда он ввалился на Петроградскую, судя по всему, разговор продолжался уже довольно долго, и Мите потребовалось некоторое время, чтобы в него втянуться. К тому же дедушка отвечал устало и, как это ни странно, не очень дружелюбно; Мите почему-то показалось, что подобные разговоры дед вел уже неоднократно и, в принципе, был знаком с большинством аргументов обеих сторон, но по какой-то причине считал нужным с Левой все же поговорить.

— Лев, поймите, — говорил он, когда Митя вошел, — вы пытаетесь поставить меня перед выбором, которого не существует и для которого нет никаких оснований. Для того чтобы любить свою страну, нет никакой необходимости любить ее палачей. Как мне кажется, с точки здравого смысла, скорее наоборот.

— Но сталинизм эту страну создал, — ответил Лева; было видно, что этот аргумент кажется ему неопровержимым.

— Нет, — возразил дед. — Я знаю, что в ваших нынешних кругах принято так думать, но с исторической точки зрения это утверждение является просто ошибочным. За спиной у Советского Союза была почти тысяча лет русской и российской истории, даже хронологически он начинался совсем не со сталинизма, а начиная с середины пятидесятых были приложены на самом деле экстраординарные усилия для того, чтобы уйти от сталинизма и создать некий синтез социализма и относительно традиционного гуманизма.

— Теперь все вдруг заговорили об истинном ленинском наследии, — Лева усмехнулся, но был непреклонен, — а по-моему, это полнейшая ерунда.

— Я бы не был столь категоричен. Сами идеи всечеловеческого братства и равенства или мысль о том, что жажда наживы разрушительна и для ее носителей, и для ее жертв,

которых, естественно, всегда бывает гораздо больше, эти идеи трудно назвать безумными. И еще труднее назвать тоталитарными.

— Но привели-то они к гражданской войне, массовому террору, а потом к сталинизму. С этим-то вы не можете спорить.

— Лева, вы же читали книги и знаете, что к страшным и еще гораздо более чудовищным, чем наша, гражданским войнам, к сожалению, приводили многие лучшие идеи человечества. Идеи религиозной терпимости, демократического правления, республики, свободы личности, равенства, отмены рабства да много что еще. Все эти убийства ужасны, и в этом смысле спорить тут не о чем, но ничего абсолютно беспрецедентного для истории, требующего именно от нас проклинать и бичевать себя до конца веков, в этом нет. История и вообще очень страшная шутка, если учесть ее не по «Айвенго», разумеется. А сталинизм...

— Вот сталинизм уж точно абсолютно исключителен, — ответил Лева с ощутимым ликованием заядлого спорщика, — и гораздо хуже даже нацизма.

Дед удивленно на него взглянул.

— Я первый, кто об этом вам говорит? — почти без паузы спросил Лева.

— Нет, конечно. Но я не ожидал услышать подобное от еврея. При нацизме нас ведь с вами и в живых-то бы не было. Но почему вы уверены, что хуже нацизма?

— Гитлер убивал чужих, а Сталин своих.

Дед устало выдохнул.

— Лева, вам не кажется это утверждение несколько странным? — дед остановился, пытаясь дать Левае время подумать, но увидев, что тот рвется в бой спора, продолжил: — Вы же критикуете советскую власть с позиций европейского гуманизма, я вас правильно понимаю?

— Да, — Лева уверенно, хотя и несколько удивленно кивнул.

— Хорошо. Значит, исходные позиции у нас общие. И при этом вы утверждаете, что невинные жертвы делятся на две категории. Тех, которых убивать лучше, потому что они чужие, и тех, кого убивать хуже, потому что они свои. Эта постановка вопроса вам не кажется несколько противоречивой?

Лева задумался.

— Вы говорите о жертвах репрессий так, как будто они простые цифры в каких-то уравнениях. Противоречиво, непротиворечиво. Но допустим. Хотя мне и сложно с этим согласиться. Не хуже Гитлера, а просто как Гитлер. Что это меняет?

— Нет, и не как Гитлер, — ответил дед, — от чего Сталин не перестает быть убийцей и изувером. Но еще Аристотель писал о том, что силлогизмов по аналогии не существует. И я могу попытаться доказать вам с цифрами и документами в руках, что порядок жертв был иным.

— Так уж и с цифрами?

Митя, до этого, неожиданно для себя, бывший на Левкиной стороне, неожиданно подумал о том, что совсем даже Левка не соперничает жертвам и не хочется ему, чтобы этих жертв оказалось меньше. Мите показалось, что, наоборот, Левке почему-то хочется, чтобы жертв было, как можно больше. Наверное, чтобы оказаться правым. Левка был очень славным, так что этой мысли Митя устыдился и попытался отогнать ее как можно дальше.

— Частично и с цифрами. Но не только. Вы же читали лагерные воспоминания? В них почти всюду описываются относительно немногие политические заключенные, окруженные множеством уголовников. Вот вам и приблизительный процент. А общее число арестованных по уголовным делам не великая тайна. Да и точные цифры мы, скорее всего, скоро узнаем. Бюрократия тех времен была достаточно старательной.

— И вам кажется, что это можно оправдать?

— Нет, — ответил дед еще более устало, но и еще более твердо. — Я этого не говорил, и не мог сказать. Ни оправдать, ни простить, ни забыть это невозможно. Ни сами преступления, ни чудовищную жестокость, ни изуверства, ни безвинно погибших, ни пытки, ни атмосферу доносительства и страха. Но видеть произошедшее в исторической перспективе мы все же обязаны. Священная Римская империя вступила в Тридцатилетнюю войну приблизительно с семнадцатимиллионным населением, а вышла с десятиллионным. За время революции и гражданской войны в Англии погибла четверть жителей, в некоторых местах даже треть. Британское хозяйствование в Индии приводило к регулярным вспышкам массового голода. Во время самого страшного из них, в восьмидесяты годы девятнадцатого века, от голода умерло почти десять миллионов человек. Вот вам и ваши образцовые просвещенные страны. И мы с вами еще не успели поговорить про средние века; а тогда все было еще страшнее.

— Это было давно, — довольно равнодушно ответил Лева.

— И вы считаете, что давно служит оправданием? Что если это было давно, то убивать, резать на куски, жечь, грабить и насиловать — это не так страшно? Довольно странная позиция для гуманиста. Хорошо, пусть будет недавно. Совсем недавняя вьетнамская война, точнее, война во всем Индокитае. Лева, там погибло более полтора миллиона человек. Это больше, чем в Освенциме.

— В основном коммунистов, — сказал Лева, на этот раз с ощутимой неприязнью. — Так что как раз там надо еще посмотреть, кто на кого напал и кто был прав. И как бы там ни было, дальнейшую экспансию социализма американцам удержать удалось.

— В этом вы как раз ошибаетесь. Но даже если бы это было так, неужели вам кажется, что ради этого можно было сжигать напалмом сотни тысяч живых людей? Детей, женщин. И это ведь не какая-то единичная история. Я старый человек и вполне готов допустить, что чудеса в истории возможны. Но когда регулярно происходят военные перевороты, правительства расстреливают, а на следующий день победивших генералов признают законными президентами, это кажется мне не чудом, а сложившейся системой. Вероятно, эти документы мы тоже когда-нибудь увидим. По крайней мере, вы увидите. Я, наверное, все же не доживу.

— Ну что вы, в самом деле, — снова возразил Лева, — то про косоглазых, то про Африку. Вы же хорошо понимаете, что история — это Европа и Америка. А грехи... Мало ли что там было у африканских обезьян. А вот большевизм и сталинизм — это наше, наша вина, наше злодейство, нам за них и каяться. Возможно, веками. А с национализмом пусть немцы разбираются. Да они, кажется, и разобрались.

На этот раз дед скорее вздохнул, тяжело, горько, почти измученно.

— К сожалению, нацизм — это наша трагедия даже в большей степени, чем немецкая. И по абсолютным, и по относительным цифрам.

— И в войне мы, значит, не повинны?

— Лева, — Лева выбрал не лучший ход; тема войны деда задевала, и Митя об этом знал, — война началась не в середине сентября тридцать девятого года, когда советская армия вторглась в уже побежденную Польшу, как ваши единомышленники теперь почему-то начали утверждать, и даже не с секретных протоколов, которые, вероятно, действительно существовали, а на полтора года раньше, со вторжения нацистов в Австрию и последующего захвата Чехословакии. Ни к тому, ни к другому Советский Союз отношения не имел.

Дед остановился, замолчал, отхлебнул глоток чаю.

— Мы же стараемся быть честными людьми, правда, Лева? — продолжил он уже гораздо медленнее и спокойнее. — Так что даже в пылу спора и разногласий нам все же следует стараться придерживаться фактов.

— Да ладно с ней, с войной, — ответил Лева, — с тех пор уже сорок лет прошло. Больше всей моей жизни. А посмотрите, как мы живем и как живут американцы. Вы же смотрите фильмы? У них там у каждого дом. У людей с профессией дом так еще и трехэтажный. А у вас в Ленинграде, как мне сказали, полно нерасселенных коммуналок. В Москве хотя бы почти все коммуналки расселили. Вот вам наглядный пример эффективности социализма.

Было видно, что дед то втягивается в спор, то теряет к нему интерес, но инстинкт преподавателя старой школы заставляет его пытаться объяснить Лева то, что ему самому казалось очень важным.

— Я попробую ответить, — наконец сказал дед.

— Неужели ты будешь спорить даже с этим? — неожиданно не выдержала мама; Митя был так увлечен этим странным спором, что почти забыл, что она тоже здесь, — Неужели ты не видишь всеобщего застоя, экономической бездарности, коррупции и воровства? Ты правда собираешься спорить с очевидным?

Как это ни странно, дед почти не обратил на нее внимания.

— Во-первых, если не считать попыток догнать и перегнать Америку, еще старым марксистам было понятно, что система, поставившая своей главной целью бесконечное увеличение производства, в этом смысле будет эффективнее, чем та, которая своими целями считает совсем иные задачи. И будет проигрывать. Поэтому, кстати, многие из них и считали одновременную мировую революцию единственно возможным вариантом. Другое дело, так ли уж необходим этот поток товаров.

— Это когда тебе не нужно стоять в очереди за колбасой, — парировала Ира.

— Ирочка, я тоже стою в очередях, — ответила бабушка.

— В стол заказов Академии наук, — ответила мама резко и язвительно. — А мне, чтобы купить пару сапог из нормальной страны, а не производства фирмы «Скороход» имени вашего победившего социализма, приходится отстаивать очереди, как в столовую для бедных. Только что номера на ладонях не пишу.

— Во-вторых, — все так же спокойно продолжил дед, — вы как-то забываете, что мы уже сорок лет находимся в состоянии войны. И, заметьте, не с одной страной, а в одиночку с пятью самыми сильными экономическими державами мира.

— И что? — спросил Лева.

— В Первую мировую Германия, с ее самой сильной в мире экономикой, попыталась воевать против почти всего мира, хоть и имея союзников, даже неплохих. Так вот, лучшей и наиболее динамичной экономики мира хватило на четыре года войны, после чего она просто кончилась. А ненавидимый вами социализм еще вполне себе держится, хотя и не всегда удачно. В этом вы правы.

— И, в-третьих, — продолжил дед, — я еще помню страну, половина которой была разрушена до основания. Вы как-то совсем забыли, насколько в ином мире вы теперь живете. Так что никакого застоя нет. Это вы его придумали. Для нас, историков, сорок лет меньше одной недели для человеческой жизни.

— И что же тогда сейчас, если не эта застойная мерзость с невнятными потугами на реформы? — хмыкнула Ира.

— История, — ответил дед, — и история в масштабах едва ли не эпических.

— Натан Семенович, — твердо ответил Лева, — наша история только начинается.

10

Чем дольше Митя слушал этот спор, тем более неоднозначными становились его впечатления и чувства. Он привык к тому, что со своей почти бесконечной эрудицией и твердой ясностью мысли дед почти всегда оказывался правым, и особенно в во-

просах, так или иначе касавшихся истории. Когда он начинал говорить, собеседники обычно замолкали. Но сейчас именно ход мысли деда, со всеми его цифрами, примерами, источниками, аргументами и сравнениями, казался устаревающим на глазах, а может быть, и безнадежно устаревшим. А как раз Левина еще отчетливо юношеская страсть и вера в свои слова звучали необыкновенно современными, даже если предположить, что в чем-то он действительно преувеличивал или перегибал планку. Но если Левка и ошибался в тех или иных фактических деталях, на его стороне была та абсолютная моральная правота, которая почти что не нуждается в построении выверенной логической аргументации.

Мите казалось, что именно дедушке как историку это должно было быть так понятно, и было немного неловко за деда, которой почему-то этого не видел. Левин идеализм был идеализмом высокого разлива, и снова, как в первые дни после Левиного приезда, Мите стало приятно, что его двоюродный брат именно такой. Митя снова подумал о том, что из них всех Лева, пожалуй, единственный, кто наделен очевидной сопричастностью Сфере стойкости, и еще о том, каково ощущать эту сильную и глубоководную связь. Так что когда дедушка позвонил вечером и сказал, что по разным причинам поселить у них Леву они с бабушкой, к сожалению, не смогут, Митя почувствовал за Левку острую обиду. «Хоть бы что придумали, — раздраженно подумал он. — Что за обоями поселилась мышь. Или что днем, как раз после их ухода, прорвало трубу, и в комнате для гостей придется поднимать паркет».

Днем же, когда разговор начал постепенно угасать, а точнее, стало понятно, что никакого разговора толком не получилось, Митя попрощался с бабушкой и дедушкой и взялся проводить Левку до какого-то митинга, где должны были выступать его друзья по ДзЭсу. Ленинград Левка знал плохо. Они спустились в метро, доехали до метро «Невский проспект», а потом довольно долго шли пешком, а Левка подозрительно осматривал прохожих.

— Ты подозреваешь кого-то конкретного? — спросил Митя.

— Агенты конторы есть всюду, — ответил Левка, — Это аксиома. Вопрос скорее в том, кого и что они вынюхивают конкретно сегодня.

Митинг оказался неожиданно большим и разнородным; это был один из первых митингов «Народного фронта». Подойдя поближе, Митя увидел, что среди митингующих очень много интеллигентных лиц. С радостью и даже с некоторым удивлением он подумал о том, что в значительной степени это люди их круга. Он снова вспомнил об упрямом ретроградстве деда и опять немного расстроился. «Но он еще все поймет», — подумал Митя. Когда они подошли, очередной оратор закончил выступать, и ликующая толпа стала кричать.

— Мы хотим перемен! — скандировала толпа. — Долой партократию! Мы хотим перемен!

Крики толпы звучали почти что в такт.

Левка присоединился к крикам сразу, с убежденностью и счастливой страстью. Митя чуть подумал, оглянулся на Левку, ему стало перед Левкой неловко, и он начал кричать вместе со всеми, постепенно чувствуя растущее единство и со страстью толпы, и с этой счастливой, весенней надеждой на перемены. Митя замахал руками и закричал громче.

— Мы хотим перемен!

Едва ли не в первый раз в жизни он почувствовал счастье слияния с толпой. А еще в эту минуту он ощутил, что будущее уже совсем рядом.